

«Искусно написанный и душераздирающий роман».

— ДЖОН ГРИН

18+

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ
цвет БУДУЩЕГО

Джон
Грин
Нелли
Спринг

роман

REBEL

Эмили С.Р. Пэн

Ослепительный цвет будущего

«Popcorn books»

2018

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)-44

Пэн Э.

Ослепительный цвет будущего / Э. Пэн — «Popcorn books»,
2018 — (REBEL)

ISBN 978-5-6042628-8-7

Ли Сэндэрс убеждена в том, что ее мать, совершив самоубийство, превратилась в птицу. После трагедии Ли отправляется на Тайвань, чтобы встретиться с бабушкой и дедушкой, которых она никогда не видела. Ли верит, что именно здесь найдет свою мать-птицу. И именно здесь ей предстоит столкнуться с призраками прошлого и раскрыть тайны, окутывающие ее семью много лет.

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-6042628-8-7

© Пэн Э., 2018
© Popcorn books, 2018

Содержание

1	6
2	8
3	10
4	11
5	13
6	16
7	17
8	18
9	21
10	25
11	27
12	29
13	31
14	33
15	36
16	38
17	41
18	43
19	46
20	47
21	51
22	52
23	57
24	58
25	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Эмили С.Р. Пэн

Ослепительный цвет будущего

© Анна Захарьева, перевод на русский язык, 2019

© Вера Маркова, перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. Popcorn Books, 2020

Copyright © 2018 by Emily X.R. Pan

Cover art copyright © 2018 by Gray 318

Cover design by Gray 318 and Sasha Illingworth

Cover copyright © 2018 by Hachette Book Group, Inc.

*Для ##, ## и Лорен, которые всегда верили,
что у меня получится*

*И если я увижу вдруг
ту птицу в небесах...*

Эмили Дикинсон

1

Моя мать – птица. И это не какой-то метафорический бред в стиле текстов Уильяма Фолкнера, напоминающих сплошной поток сознания. Моя. Мать. Действительно. Птица.

Я знаю, что это правда, точно так же, как знаю, что пятно на полу в спальне вечно – как небо; так же, как знаю, что мой отец никогда себя не простит. Никто мне не верит, но это факт. Я абсолютно в этом убеждена.

Вначале эта дыра в форме матери состояла из крови. Темной и липкой, просочившейся в ковер до самого его основания.

Снова и снова я возвращаюсь мыслями в тот июньский вечер. Я шла домой от Акселя и подросла как раз в ту минуту, когда отец вышел на крыльцо – он явно искал меня. Я никогда не забуду эту картину: его скользкие, трясущиеся руки, какое-то темно-красное пятно на виске и грудь, вздымающуюся так тяжело, словно он вдыхал не воздух, а металлические опилки. Сначала я решила, что это с ним что-то случилось.

– Ли, твоя мать...

Он запнулся, и его лицо сморщилось, превратившись в нечто ужасное. Когда он наконец произнес эти слова, казалось, что, прежде чем достичь моего слуха, его голос прошел сквозь целый океан. Это был холодный, лазурный звук, далекий и искаженный. Я никак не могла осознать, что сказал отец. Даже когда приехала полиция. Даже когда они выносили через входную дверь тело моей матери.

Это произошло в День двух с половиной. *Наш* день – для меня и Акселя он стал ежегодной традицией. Он должен был пройти по-праздничному. Учебный год завершался, и все начало возвращаться на круги своя, даже несмотря на то что Лианн все еще присутствовала в нашей жизни. Мы уже строили планы на предстоящее лето. Но, видимо, у вселенной есть привычка время от времени давать ожиданиям внушительный пинок под зад.

Где я была в тот день: сидела на старом твидовом диване в подвале Акселя, терлась лицом о его плечо и старалась не замечать оранжевую электрическую стену между нами.

Что будет, если я прижму свои губы к его? Ударит ли меня током, как от собачьего ошейника? Или стены начнут осыпаться? А может, мы сольемся воедино?

И что насчет Лианн – исчезнет ли она? Может ли один поцелуй заставить ее испариться? Но был вопрос и получше: как много он может разрушить?

Моя мать знала, где я. Эта мысль до сих пор не дает мне покоя.

Если бы я хоть на минуту вынырнула из моря своих идиотских гормонов, то, возможно, мои нейромедиаторы подали бы мне сигнал, что нужно идти домой. Может, я очнулась бы от своей слепоты и заставила себя наконец увидеть, насколько все было плохо, – или как минимум заметила бы, что все цвета вокруг перемешались.

Но вместо этого я еще глубже спряталась в свою раковину, решив побыть одним из тех растерянных подростков, заикленных только на себе. На уроках полового воспитания учителя всегда делали акцент на том, что мальчики одержимы гормонами. Но сидя на том твидовом диване, я пребывала в полной уверенности, что какую-то очень важную деталь о женском теле, или, во всяком случае, о *моем* теле, учителя от нас скрыли. Я была фейерверком, готовым выстрелить в любую секунду, и, если бы Аксель приблизился еще на миллиметр, я бы взорвалась, улетев высоко в небо, а потом осыпалась тысячами светящихся искр.

В тот день он был в коричневой рубашке в клетку. Моей любимой; она была самой старой и мягче остальных ощущалась у меня на щеке, когда я обнимала его. В воздухе разливалась смесь его мальчишеских запахов: сладость дезодоранта, что-то дымчато-цветочное и аромат, напоминающий бесшумную вечернюю траву.

В конце концов, это он снял очки и поцеловал меня. Но вместо того чтобы взорваться искрами, мое тело словно заледенело. Стоило мне пошевелиться – и все бы исчезло. Одна лишь мысль о поцелуе – как прикосновение морозной волшебной палочки к груди. Мои ребра сжались, пре-вратившись в ледяную глыбу, по которой паутиной побежали тонкие трещинки. Я больше не была фейерверком. Я была чем-то замерзшим, спрятанным далеко в Арктике.

Руки Акселя скользнули по моей спине, и ледяное проклятие спало. Я оттаивала – он запустил мой механизм; я отчаянно целовала его в ответ, наши губы были повсюду, и мое тело светилось оранжевым светом, или фиолетовым, или... Нет, оно светилось всеми цветами вселенной одновременно.

За несколько минут до этого мы ели попкорн в шоколаде – и именно таким он был на вкус. Сладким и соленым.

Взрыв мыслей заставил меня остановиться. Облако осколков-напоминаний: он мой лучший друг, он единственный человек (помимо мамы), которому я доверяю полностью, я не должна целовать его, *не могу* целовать его...

– Какой цвет? – тихо спросил Аксель.

Если один из нас хотел узнать, что чувствует второй, то всегда задавал этот вопрос. Мы были лучшими друзьями с тех пор, как познакомились на уроках рисования миссис Донован, – так что этого было достаточно. Цвет как средство передать настроение, достижение, разочарование, желание.

Я не могла ему ответить. Не могла признаться, что внутри меня мерцает весь чертов цветовой спектр, включая целый набор оттенков, о которых я раньше и не догадывалась. Вместо ответа я встала.

– Черт, – выдохнула я.

– Что такое? – спросил он. Даже в тусклом свете подвала я видела, как горят румянцем его щеки.

Руки... Я не знала, куда деть руки.

– Прости, мне нужно... Нужно идти.

У нас было правило – никакого вранья. Я снова его нарушала.

– Ли, ты серьезно? – произнес он, но я уже бежала по ступенькам, хватаясь за перила, чтобы быстрее оказаться наверху. Я выскочила в коридор, ведущий в гостиную, и принялась ловить ртом воздух, будто только что вынырнула на поверхность после самого глубокого на свете погружения.

Он не побежал следом. Входная дверь с шумом захлопнулась, когда я вышла: даже его дом злился на меня. Этот треск прозвучал грязно-рвотным зеленым. Я представила, что так же резко хлопает по страницам переплет недочитанной книги.

2

Я никогда не видела трупов вблизи. Подъехали полицейские, и я побежала, чтобы их опередить. Вверх по лестнице, две ступени за раз. Я ворвалась в спальню родителей, едва не выломав дверь. Я не видела ничего, кроме ног матери на полу, торчавших по ту сторону кровати.

Затем позади меня возник папа; он пытался оттащить меня с прохода, пока в моих ушах звенел оглушающий крик. Такой громкий, что я была уверена – это какой-то полицейский сигнал. Лишь замолчав, я поняла: кричала я сама. Звук шел у меня изо рта. У меня из легких.

Я увидела пятно только после того, как маму унесли и кто-то уже предпринял попытку оттереть его с ковра. Но оно по-прежнему было темным и широким, продолговатым, отвратительным. И не скажешь, что в форме матери.

Легче было представить, что это пятно от акриловой краски. Пигмент, эмульсия. Растворяется водой до полного высыхания.

Но кое-что представить трудно: что пролитая краска – всегда случайность.

Обычно, когда кто-то разливает краску, в этом не участвуют нож и горсть таблеток снотворного.

На следующий день после того, как *это случилось*, мы потратили несколько часов в поисках записки. И эта часть была самой сюрреалистичной. И папа, и я перемещались по дому, словно сонные ленивцы, открывая ящики и комоды, перебирая пальцами содержимое полок.

Все это неправда, если нет записки. Эта мысль беспрерывно проносилась у меня в голове. *Она бы обязательно оставила записку.*

Я отказывалась заходить в родительскую спальню. Я не могла забыть мамины ноги на полу, торчащие с другой стороны кровати; кровь, ударившую мне в голову осознанием: *она мертва она мертва она мертва.*

В коридоре я прислонилась к стене и стала слушать, как папа, продолжая поиски и перемещаясь из одного конца комнаты в другой, остервенело копается в бумагах – в том же отчаянии, которое ощущала и я. Я слышала, как он открыл коробку с украшениями и спустя минуту захлопнул крышку. Слышала, как он разбирает кровать – видимо, пытался найти записку под подушками, под матрасом.

Где, черт возьми, люди обычно оставляют предсмертные записки?

Если бы Аксель был здесь, со мной, он наверняка сжал бы рукой мое плечо и спросил: «Какой цвет?»

И мне пришлось бы объяснять ему, что я стала бесцветной, прозрачной. Медузой, попавшей в плен течения и вынужденной двигаться по велению океана. Я была такой же ненастоящей, как несуществующая записка моей матери.

Но если записки и правда нет – что тогда это значит?

Отец, похоже, что-то нашел – по ту сторону двери вдруг повисла оглушительная тишина. – Пап? – позвала я.

Ответа не последовало. Но я знала, что он там. Я знала, что он в сознании, что он стоит по ту сторону стены и слышит меня.

– Папа, – произнесла я снова.

Я услышала долгий, тяжкий вздох. Шаркающими шагами отец подошел к двери и распахнул ее.

– Нашел? – спросила я.

Он медлил с ответом, избегая моего взгляда, смущаясь. Наконец протянул руку, в которой сжимал скомканный листок бумаги.

– Нашел в мусорном ведре, – выдавил он. – И это тоже.

Он раскрыл ладонь до конца, и я увидела горсть капсул, которые узнала в ту же секунду. Мамины антидепрессанты. Он снова сжал кулак и пошел вниз.

В тело просочился бирюзовый мороз. Когда она прекратила принимать таблетки?

Я развернула листок и уставилась в его белизну. На поверхности не было ни следа крови. Руки, словно чужие, сами поднесли бумагу к лицу – я втянула носом воздух, пытаюсь уловить последние остатки маминого аромата.

Наконец я заставила себя взглянуть на написанное.

*Ли и Брайану
Я вас очень люблю
Простите меня
Таблетки не*

Ниже были нацарапаны еще какие-то слова, но они были перечеркнуты столько раз, что прочитать их уже не представлялось возможным. И в самом низу – последняя строка:

Я хочу, чтобы вы помнили

Что пыталась сказать нам мама?

Что мы должны помнить?

3

Ночи я стала проводить на диване внизу – как можно дальше от спальни родителей. Я почти не спала, но, утлая в недрах старого кожаного дивана, часто представляла себя на руках у великанши. У нее было мамино лицо, мамин голос. Время от времени, когда мне удавалось провалиться в беспокойную дремоту, громкое тиканье часов над телевизором превращалось в ее сердцебиение.

В перерывах между ударами огромного сердца в мои сны прокрадывались обрывки прошлого. Смеющиеся родители. Мой день рождения; наши лица, измазанные шоколадным пирогом. Мама, пытающаяся играть на пианино пальцами ног, – по моей просьбе. Папа, напевавший стишки собственного сочинения: «Веселая Ли хохочет вдали», «Ох – ну и вздох!»

Это была ночь перед похоронами; около трех я проснулась от резкого стука в дверь. Это был не сон; я знала точно, поскольку только что мне снилось, как великанша мурлычет что-то себе под нос, сидя за пианино. Больше никто не проснулся. Ни отец, ни мамина кошка. Деревянный пол ужалил ноги холодом, и, растерянная из-за перепада температур, я, дрожа, вышла в прихожую. С силой потянув на себя тяжелую входную дверь, я впустила в дом свет с крыльца.

Наша улица на окраине города была лиловой, темной, тихой – лишь в траве ритмично стрекотал одинокий сверчок. Шум вдалеке заставил меня поднять глаза, и я увидела, как в тусклом предрассветном небе мелькнуло что-то ярко-алое. Оно хлопнуло крыльями – один раз, другой. За туловищем последовал хвост, развеваясь словно флаг. Существо пронеслось над полумесяцем, мимо тени большого облака.

Я не испугалась, даже когда птица спланировала над нашим газоном и приземлилась на крыльцо, отбивая короткие трели коготками по деревянному настилу. Невиданное создание было почти с меня ростом.

– Ли, – произнесла птица.

Этот голос я узнала бы где угодно. Голос, который, подождя, пока я закончу плакать, заботливо спрашивал, не налить ли мне стакан воды; который предлагал сделать перерыв на горячие печенья, когда я учила уроки; который вызывался довести меня до художественного магазина. Это был желтый голос, пошитый из ярких и мелодичных звуков, и этот голос доносился из клюва алого существа.

Взглядом я оценила его размер – совсем не похоже на миниатюрную фигуру моей матери, когда та была человеком. Птица напоминала японского журавля, только с длинным, густо покрытым перьями хвостом. Вблизи я разглядела, что все перья – остроконечные и сияющие и каждое окрашено в свой оттенок красного. Когда я протянула руку, воздух резко поменялся, будто я прикоснулась к идеально гладкой поверхности воды. Птица поднялась в небо, хлопая крыльями, и в конце концов скрылась из виду. Единственное красное перо осталось лежать на крыльце, загнутое, как лезвие серпа; в выпрямленном состоянии оно было длиной с мое предплечье. Я бросилась к нему, невольно подняв чуть ощутимый ветерок. Перо лениво взмыло в воздух, будто зачерпывая его своим полумесяцем, и замерло. Я нагнулась к земле, чтобы поймать его ладонью, и приподняла голову, вглядываясь в небо. Птица улетела.

Вернется ли она? На всякий случай я налила в ведро воды, а дверь оставила приоткрытой. Перо я взяла с собой и, едва опустившись на диван, заснула глубоким сном – впервые с того дня, как появилось *пятно*. Мне снилась алая птица, и, проснувшись, я была убеждена, что на самом деле ее не существует. Но затем я увидела, что сжимаю в кулаке перо – да так крепко, что на коже остались следы от ногтей. Даже во сне я боялась его потерять.

4

Гроб был открытым, и, подходя к этой бездушной деревянной коробке, я почему-то была уверена, что увижу горку пепла. Но нет – там была голова. Было лицо. Я заметила знакомую родинку во впадинке над ключицей. На ней была блузка – та, которую она купила для концерта, а потом решила, что терпеть не может.

Передо мной лежало тело – серее карандашного эскиза. Кто-то нарисовал ее лицо, чтобы оно выглядело более живым.

Я не плакала. Это была не моя мать.

Моя мать свободно парит в небе. Она не обременена человеческим телом, не состоит из единственной серой точки. Моя мать – птица.

На теле в гробу не было даже нефритового кулона-цикады, который мама носила каждый день моей жизни. Ее голая шея – еще одно доказательство.

– Какой цвет? – прошептал Аксель, подойдя ко мне.

Это был наш первый разговор с того дня, как умерла мама, ровно неделю назад. Он, скорее всего, узнал обо всем от своей тети Тины, когда ей позвонил мой отец. Я понимала, что не должна отталкивать его, но не могла вынести даже мысль о разговоре. Что я могла ему сказать? Как только я пыталась придумать хоть что-нибудь, внутри сразу становилось пусто и холодно.

Он явно чувствовал себя не в своей тарелке там, на похоронах. Его клетчатая рубашка поверх футболки с принтом и заношенные джинсы сменились на другую рубашку – классическую и не по размеру объемную, – гладкий сияющий галстук и темные брюки. Я заметила, как нервно он посмотрел на гроб, как осторожно перевел взгляд обратно на мое лицо.

Если бы он посмотрел мне в глаза, то понял бы, что пронзил меня стрелой, что ее стержень до сих пор торчит у меня из груди и болезненно трепещет с каждым ударом моего сердца.

И, может быть, он увидел бы, что все мое тело уже искромсано на куски поступком матери. Что даже если бы он смог вырвать у меня из сердца эту стрелу, починить меня все равно бы не удалось – настолько исколотым и изорванным было все мое существо.

– Ли?

– Белый, – прошептала я, чувствуя его удивление. Он наверняка ожидал чего-то вроде синевы льда или приглушенной киновари сумерек.

Я видела, что он хотел взять меня за локоть, но смутился. Его рука опустилась.

– Зайдешь потом? – спросил он. – Или я могу зайти к тебе...

– Мне кажется, это не лучшая идея. – Я ощутила, как в нем поднимается волна розового.

– Я не то хотел...

– Я знаю, – перебила я; не потому, что и правда знала, а потому, что просто не могла позволить ему закончить это предложение. Чего он не хотел? Разрушать пылающую стену между нами и соединять губы в поцелуе в тот самый момент, когда умирала мама?

– Ли, я просто хочу с тобой поговорить.

Еще хуже.

– Мы разговариваем прямо сейчас, – произнесла я, и с этими словами внутренности скрутило в множество узлов.

Бред, бред, бред. Это слово эхом отзывалось у меня в голове, и я попыталась затолкать его подальше, чтобы больше не слышать.

Только когда Аксель отвернулся, я заметила, что у него трясутся плечи. Он поднял руку, чтобы ослабить узел галстука, и направился в другой конец помещения. Словно вспышка, в голове загорелся образ будущего: я увидела, как расстояние между нами растягивается, раскручивается, будто измерительная лента, до тех пор пока не превращается в тысячи и тысячи

километров. Пока мы не оказываемся так далеко друг от друга, как только могут быть два человека, не покидая поверхности Земли.

Чего он собирался добиться разговорами? После всего, что произошло с моей матерью? Разве можно было что-то исправить?

5

Я еще не решила, как сказать папе о птице – и говорить ли вообще. Но когда мы возвращались с похоронной церемонии к машине, я споткнулась: из-за огромной трещины в асфальте тротуар стал безобразно неровным.

В ту же секунду в голове зазвучала глупая детская песенка: *«Если на трещины будешь вставать, мамину спину можешь сломать»*.

Мысли невольно задержались на этих строках. Я моргнула и вдруг упала: одна половина тела оказалась на траве, другая – на краю тротуара. Папа помог мне подняться. На коленке осталось зеленоватое пятнышко, а с ним пришла тоска о прошлом, о том простом времени, когда пятна от травы казались чуть ли не самой страшной проблемой.

– Что это? – спросил папа. Сначала я решила, что он говорит о пятне. Но нет, он указывал на что-то продолговатое, узкое и красное, лежавшее в нескольких метрах от меня.

Пока я падала, из кармана платья вылетело перо. Оно опустилось на тротуар и осталось загадочно там лежать.

Я быстро подняла его с земли и сунула обратно в карман.

Конечно, папа имел в виду перо. Я не могла ему лгать. Во всяком случае, не о том, что касалось матери.

– Это от мамы, – попыталась объяснить я, когда мы сели в машину. – Она прилетала, чтобы меня проведать.

Какое-то время папа молчал, сжимая руль с такой силой, что у него побелели костяшки пальцев. Я видела, как на долю секунды его лицо исказилось страданием – громким, словно рев, хотя кроме шума ехавшего по асфальту автомобиля да едва различимых прикосновений его ног к педалям звуков вокруг не было.

– Чтобы проведать тебя, – эхом отозвался он. В его голосе отчетливо звучало сомнение.

– Она была в теле... Она превратилась в... – Я сглотнула. Теперь, уже на самом кончике моего языка, эти слова вдруг стали казаться невероятно глупыми. – Она стала птицей. Огромной, красной и очень красивой. Прошлой ночью она прилетела на наш газон.

На Милл Роуд он свернул налево, и я поняла, что он по-ехал длинным путем, чтобы продолжить разговор. Я оказалась в ловушке.

– И что же означает это ее превращение? – спросил он после бесконечной паузы, и в тот момент я осознала, что он не поверил мне и, что бы я ни говорила и ни делала, – он уже не передумает.

Я не ответила; почти бесшумно он втянул носом воздух. Но я прекрасно это слышала. Я отвернулась к окну, большим пальцем поглаживая стержень пера.

Несколько раз отец начинал барабанить по рулю подушечками пальцев – он часто так делал, когда глубоко о чем-то задумывался.

– Что для тебя олицетворяет красный цвет? – предпринял он очередную попытку. Его фраза прозвучала как цитата из учебника; как специальная техника, которой он научился у доктора О’Брайана.

– Пап, я не выдумала эту птицу. Она настоящая. Я ее видела. Это была мама.

Начался дождь; мы угодили в самый эпицентр грозы. Косые струи воды громко барабанили по машине, они вонзались в мое лицо, отражающееся в окне, снова и снова рассекая его на куски.

– Ли, я пытаюсь понять, – сказал папа на подъезде к дому. Он не нажал кнопку, открывающую дверь гаража. Он не переключил машину в режим парковки. Мы сидели в тупом молчании, и от мелкого дрожания заведенного двигателя меня начало укачивать.

– Хорошо, – ответила я. Пожалуй, стоит дать ему шанс. Если он правда решил попытаться – попытаюсь и я. Если он хочет это обсудить – не проблема. Мне было важно одно: чтобы он *постарался* – хоть на секунду – мне поверить.

Я наблюдала, как он барабанил пальцами по рулю, подбирая слова. Потом ненадолго закрыл глаза.

– Мне тоже очень хотелось бы... снова увидеть твою маму. Больше всего на свете.

– Ну да, – сказала я, и в голове стало пусто – будто погас экран компьютера. Я отстегнула ремень безопасности, распахнула дверь и вышла из машины.

Дождь обнимал меня, пока я рылась в сумке в поисках ключей. Он был теплым и казался серым на фоне неба. Я представила, что это жидкая броня, которая, соприкасаясь с телом, принимает его форму, которая защищает меня от всех невзгод.



Каро тоже мне не поверила. Я попыталась ей все рассказать, когда мы, переодевшись из похоронной одежды в повседневную, пришли в «Фадж Шак». Мы сидели на высоких круглых стульях; мой кусочек фаджа ¹ «Роки Роуд» лежал нетронутым на квадратном отрезке оберточной бумаги. Она потягивала через трубочку молочный шоколадный коктейль и медленно глотала, давая мне время закончить. Она молчала тем особым образом, который означал, что она с чем-то не согласна. По ее терпеливым кивкам и стеклянному взгляду я поняла: с каждым словом, слетающим с моих губ, она все сильнее отдаляется.

В какой-то момент смотреть на нее стало невыносимо. Мой взгляд переместился выше, на пятнышко синей краски в ее коротких волосах, выцветшее до цвета бледного зеленовато-голубого морского стекла. Синие прядки у нее были с тех пор, как мы перешли в старшую школу, но еще никогда они не выглядели такими зелеными.

Когда я закончила, она сказала:

– Я за тебя переживаю.

Я погрузила палец в свой фадж; потом вытащила его и уставилась на образовавшееся отверстие.

– Я знаю, тебе не очень нравится доктор О’Брайан, – сказала она, – но, может, есть смысл... попробовать сходить к еще кому-нибудь?

Я пожала плечами.

– Я подумаю.

Но я видела, что она поняла: я сказала это лишь для того, чтобы она прекратила говорить со мной *в таком тоне*.

Я принялась демонстративно проверять время на телефоне, а затем соскользнула со стула, взяла свой фадж и, дежурно извинившись, поспешила по своим выдуманным неотложным делам.

Позже меня начало одолевать чувство вины, ведь Каро просто пыталась помочь.

Но разве хоть кто-нибудь мог помочь, *не веря* мне?

Чего мне действительно хотелось, так это поговорить о маме с Акселем; перенестись на сотню дней вперед с момента того поцелуя, постараться стереть его из памяти – из его и моей. Я хотела рассказать ему о птице. С этим желанием я сидела на диване, крутя в руках кусочек угля – туда-сюда, туда-сюда, – пока мои пальцы не почернели, как сажа, а все, к чему я прикасалась, не становилось грязным и обгоревшим.

¹ Фадж – молочный ирис. – Здесь и далее примеч. пер.

Поверит ли мне Аксель? Хотелось думать, что да, но, если честно, я не имела ни малейшего понятия.

После того как я не ответила ему по мобильному телефону, он звонил на домашний. Только один раз. Никто не взял трубку. Сообщения он не оставил.

Мы почти никогда не расставались так надолго. Даже когда у меня был кишечный вирус, а сразу за ним простуда, а сразу за ней респираторная инфекция – он приходил несмотря ни на что, мужественно бросая вызов микробам, кишевшим у нас дома, садился на диван рядом со мной и рисовал. Даже когда папа отправил меня в «Мардэнн», эту чертову адскую дыру, притворяющуюся летним лагерем. Я так страдала там, что Аксель проехал несколько часов на автобусе, только чтобы помочь мне сбежать и вернуться домой.

Он бы никогда не вычеркнул меня из своей жизни, и я это знала. Виновата во всем только я одна.

Думать об этом было так же больно, как крутить застрявшую в ребрах стрелу. Поэтому я позволила себе погрязнуть в мыслях о птице; в голове кружили вопросы: где она сейчас? чего она хочет?

Я попыталась нарисовать ее у себя в скетчбуке, но крылья никак не получались.

6

Дыра в форме матери стала воплощением самой черной на свете черноты. Такой, которую я могла увидеть только со стороны. Когда я пыталась смотреть на нее прямо, то видела лишь пустоту.

Мне приходилось бороться с этой пустотой, с этим отсутствием цвета. Я смотрела в другую сторону, на белизну, состоящую из всех цветов видимого спектра. Белый стал моим спасением; по крайней мере, его можно было использовать как пластырь, пусть и самый крошечный на свете. На следующее утро после похорон, в час, когда на улицах было пусто, я отправилась на машине в строительный магазин; я петляла потайными путями, чтобы свести к минимуму встречу с соседями: они узнали бы наш автомобиль, а потом и меня. Жажда белого вспыхнула во мне с такой силой, что я села за руль, ни секунды не переживая об отсутствии водительских прав.

Я закончила первый слой: краска была довольно жидкой, и ярко-мандариновый цвет, которым мы с мамой покрыли стены много лет назад, теперь превратился в какой-то болезненный оттенок апельсинового эскимо. На пути в ванную я столкнулась с папой – он выходил из своего кабинета.

Он посмотрел на ведро краски у меня в ногах, на джинсы в белых пятнах и сказал:

– Ли, ну перестань.

Он ничего не понял про мою борьбу с черной дырой, с пустотой. Не то чтобы это меня удивляло. Он столько всего не понимал и никогда не поймет.

– Туда ты с этим не войдешь, – заявил он, большим пальцем указывая на их с мамой спальню. Без проблем, я не зашла бы туда даже под дулом пистолета. Он забрал ведро с краской, и я сбежала от него на первый этаж – в свой скетч-бук и принялась водить мелком по листу.

Я рисовала темные продолговатые формы. Со всей силы вдавливала в бумагу мелок, пока костяшки пальцев не почернели и не заныли от боли; на странице светилась гладкая угольно-черная дыра. Может, если бы у меня получилось нарисовать пустоту, я смогла бы ее контролировать.

Но черный все равно был недостаточно темным. Никак не получался таким, чтобы чернее было уже некуда.

Я уже давно не использовала другие цвета. Уголь и простой карандаш стали моими главными инструментами. В основном я рисовала контуры, очертания. А цвета приберегала на потом.

7

Я прекрасно знала, *что* я видела. Это было по-настоящему. Разве нет?

Каждую ночь после появления птицы я, дождавшись, когда шум наверху стихнет, выходила на крыльцо и, сощурившись, вглядывалась в небо. По нему, то и дело загораясь звезды, проплывали облака. Луна уменьшалась, с каждым днем сдавая позиции небу. Я постоянно меняла воду в ведре – на всякий случай. А возвращаясь в дом, подкладывала старый кроссовок между косяком и дверью, чтобы та не захлопывалась. Легкий ветерок проникал в щель и кружил по гостиной, а я засыпала, представляя, как мое лицо ласкает дыхание великанши.

После похорон прошла неделя; лунный свет достиг окна гостиной, и температура внезапно упала. Это должна была быть очередная невыносимо жаркая ночь, однако с каждым моим выдохом перед лицом появлялось белое облачко. Стояла мертвая тишина, но я отчего-то все равно решила проверить, что творится снаружи.

Едва выйдя за порог, я увидела на дверном коврике посылку, немногим меньше коробки для обуви, обвязанную грязным шнурком крест-накрест с узлом на крышке. Углы слегка помялись, а на поверхности черным маркером незнакомым почерком было выведено мое имя. Больше на коробке ничего не было. Ни марок, ни наклеек, ни даже нашего адреса.

Я подняла голову: птица стояла на участке, прижав лапу к животу – как делают журавли, которых я видела на картинах. В свете луны кончики ее крыльев казались серебристыми и острыми, а ее тень – темной, почти цвета индиго.

– Это от бабушки с дедушкой, – сказала моя мать – птица.

Сначала я подумала: «*Но бабушка с дедушкой умерли*». Папины родители были уже в возрасте, когда он появился на свет, и обоих давно не было в живых.

Если только птица не говорила о... маминых родителях? Тех, кого я никогда не видела?

– Возьми эту коробку с собой, – сказала она, когда я наклонилась, чтобы поднять посылку.

– Взять с собой? Куда? – спросила я.

– Когда поедешь, – ответила она.

Я выпрямилась, а птица уже улетела прочь, пера в этот раз не сбросив.

Мне ничего не оставалось, как вернуться в гостиную. На секунду мне показалось, что все вокруг плавится, а цвета темнеют, как от высокой температуры. Окна и шторы вдруг стали бесформенными, мебель съезжилась и вжалась в пол, а свет лампы превратился в мутную жижу.

Я пару раз моргнула – все стало по-прежнему.

Я села на диван и вдруг почувствовала такую усталость, что заснула, даже не размотав до конца шнурок на коробке. Когда я открыла глаза, солнце уже вовсю плавало окна, а посылка все еще стояла рядом.

Она была настоящей. Она существовала и при свете дня. Я сделала медленный вдох и опустила пальцы на крышку.

8

Я до сих пор пытаюсь решить, что делать с коробкой. Прошла неделя с той ночи, когда моя мать в обличии птицы принесла ее. Меня убивает, что я не могу обсудить все это с Акселем.

Ну, теперь-то папа мне поверит?

Я вспоминаю, как он нахмурился, словно со мной было что-то не так.

Я сижу на диване, скрестив ноги, ровно над тем местом, где спрятала посылку. Ее содержимое – не просто перо, а нечто гораздо более значимое. Может быть, в этот раз он меня выслушает.

Я уставилась прямо перед собой на сияющую гладь фортепиано, как на кристальный шар, который должен был объяснить мне, почему мама стала птицей и что делать дальше. Последние несколько дней я ходила по дому и рисовала предметы, которые, мне казалось, что-то значили, но до пианино еще не добралась. С ним связано слишком много воспоминаний, а для воспоминаний нужен цвет.

Когда-то из этого инструмента лились звуки, заполняя наш дом. Когда в последний раз я слышала, как играет мама? Не могу припомнить – наверное, одно это должно было тогда заставить меня беспокоиться.

Теперь-то все кажется таким очевидным.

Год за годом я обещала, что уже «следующим летом» позволю ей научить меня играть, и за ее клавишами наконец воспарит вторая пара рук. Ей очень этого хотелось. Точнее, ей хотелось, чтобы это стало нашим с ней общим занятием. Я всегда представляла, как мы изучаем какой-нибудь очаровательный дуэт; мои руки ударяют по клавишам в басовом ключе, а ее – нежно перебирают ноты высоких октав.

Мама никогда не закрывала крышку пианино, и открытые клавиши поблескивали, как зубы. Она утверждала, что им нужно дышать. Но отец убрал ноты и захлопнул крышку. Пианино, которое стояло передо мной сейчас, было голым, неулыбчивым, траурно-черным.

Из пространства, где раньше стояли ноты – открытые на странице с тем произведением, которым мама занималась в тот момент, будь то соната или ноктюрн, – теперь смотрело мое черно-деревянное отражение. Когда я росла, то всегда хотела быть больше похожей на свою мать. На тайваньку.

У нее были волосы до плеч, которые она укладывала волнами, а еще она носила большие очки, которые снимала, когда ее одолевали мигрени. Я помню, как пыталась посмотреть на нее глазами незнакомца: хрупкая, темноволосая женщина, которая путается в английской грамматике и фразеологизмах. Я не помню, чтобы она говорила при мне на другом языке. Она даже имя выбрала себе английское – Дороти, которое в какой-то момент сократилось до Дори.

В моей внешности есть что-то от нее, но все-таки я больше похожа на отца – американца с ирландскими корнями, родившегося и выросшего в Пенсильвании. У меня, как и у него, карие глаза, только темнее; такой же острый нос. Я выгляжу как он в молодости – особенно это заметно на фотографиях, сделанных еще до моего рождения: он тогда был бас-гитаристом в группе под названием «Кофейные зерна». Сложно представить его музыкантом – для меня он был исключительно синологом, исследователем Китая: его экономики, культуры, истории... Он в совершенстве знает мандарин и регулярно выступает с лекциями в Шанхае и Гонконге на собраниях сиологов и экономистов.

Пальцами, словно гребнем, я провожу по своим волосам до плеч – похоже, это единственное, что является по-настоящему *моим*. Темно-коричневые – не считая выкрашенной в русалочий зеленый цвет прядки, – они представляют собой нечто среднее между черной, как смоль, копной мамы и папиными волосами пыльно-мышинного цвета. Мама заплетала мне француз-

скую косу, и мои негустые волосы словно оживали. Жаль, что я поленилась научиться плести ее сама.

Я еще многому не научилась у нее, пока был шанс, и теперь жалею.

Я смотрю на свое отражение и вздыхаю.

Пианино не открывает для меня ничего нового о матери – птице. Или о коробке. Оно лишь рассказывает историю отчаявшейся девочки, которая каждую ночь поднимается с постели, чтобы отпереть входную дверь.



Шипение кофе на плите прерывает мои мысли. Значит, папа на кухне. Видеть его не хочется. Я устала от его недоверия, а его привычка слоняться по дому, источая этот мутно-серый цвет, сводит меня с ума. Такое горе должно быть окрашено в сильные, пронзительные цвета, тревожно-яркие или даже ядовитые, но никак не в смиренные оттенки черно-серых теней.

Но желудок начинает ныть от голода, а он будет сидеть там со своим кофе еще бог знает сколько. Нужно либо столкнуться с ним, либо ходить голодной.

Я прячу скетчбук под диван и плетусь на кухню, чтобы взять из холодильника палочку плетеного сыра. Мамина кошка, мяукая, вьется под ногами.

У папы в руках хрустит газета.

– Не обращай внимания на Мэймэй, я только что ее покормил.

Я нагибаюсь, чтобы потрепать ее по мягкой пушистой спине. Она снова мяукает. Возможно, ей нужна не еда. Возможно, ей нужна моя мать.

Если бы Аксель был здесь, он бы сказал: «Привет, мисс Кошка». Он бы наклонился к ней, а уже через несколько секунд она бы оглушительно мурлыкала.

Аксель. Мысль о нем выстреливает пронзительным синим.

– Ну а ты? – спрашивает папа. – Как насчет нормального завтрака? – Он отпивает кофе из чашки. – Давай я сварю овсянку?

Я морщусь, но он этого не видит, так как я стою к нему спиной. Неужели он не знает, что овсянку я ем, только когда болею?

Конечно, не знает. Ни черта он не знает.

Мама предложила бы приготовить вафли с ягодами и взбитыми сливками. И, чтобы уже точно не отклоняться от нашей воскресной утренней традиции, в любую минуту через заднюю дверь сюда должен бы был зайти Аксель. Но он не придет. Он знает меня лучше, чем кто-либо другой; знает, когда я встречаю его фальшивым приветствием, знает, когда я на грани отчаяния. Даже если он не догадывается, что меня гложет ненависть к себе, он все равно должен понимать: то, что между нами произошло, необратимо.

– Нет, спасибо, – отвечаю я, наливая апельсиновый сок в мамину любимую кружку, черно-белую с нотами, чтобы не встречаться с ним глазами. – Так когда ты возвращаешься на работу?

– Ну, учитывая, что произошло...

Мой мозг моментально выключает его голос. «Учитывая, что произошло». Я бы стерла эти слова с лица земли.

– ...так что я буду здесь.

– Подожди, в смысле? – Я разворачиваюсь. Один из моих мелков лежит в опасной близости от его кружки, так что мне приходится подавить в себе желание подбежать и спасти его. Отец известен своей неуклюжестью; к тому же ему нет большого дела до моего художествен-

ного «баловства». (Будто бы эта какая-то пагубная привычка, от которой мне следует отказаться, вроде кокаина.) – У тебя же какая-то конференция или мастер-класс?

– Я не еду.

– Но тебе ведь нужно... Разве нет?

Он качает головой.

– Буду пока работать из дома.

– Что будешь?

– Ли, – произносит он и шумно сглатывает. – Ты говоришь так, будто *хочешь*, чтобы я уехал.

Я правда рассчитывала на то, что он приступит к работе с удвоенной силой. Не могла дожидаться дня, когда он вызовет по телефону такси и отправится в аэропорт, дня, когда снова смогу вздохнуть свободно и рисовать без его непрерывного контроля; когда наконец получу шанс понять, каково это – горевать по матери.

– Так ты *хочешь*, чтобы я уехал? – спрашивает он, и, кажется, из-за надлома в его голосе похожая трещина грозит образоваться у меня в груди.

Я собираюсь с силами – я настроена решительно.

– Просто... ты все время уезжаешь в командировки. Мы к этому привыкли. Почему ты больше никуда не едешь?

– Раньше о тебе заботилась мама, – говорит он, пытаясь скрыть боль в голосе.

– Мне почти *шестнадцать*. Я уже много *лет* остаюсь дома одна.

– Ли, дело не в том, насколько ты взрослая или самостоятельная. А в том, что... нам нужно больше времени проводить вместе. Особенно учитывая обстоятельства. Я хочу, чтобы мы... больше разговаривали. – В его глазах появляется проблеск вины.

Я делаю глубокий вдох.

– Хорошо, я как раз хотела с тобой поговорить кое о чем.

Папины брови приподнимаются на пару миллиметров, но он явно испытывает облегчение.

– Ладно, – осторожно произносит он. – Валяй.

9

Уже в следующую секунду я достаю из тайного места под диваном посылку.

– Я знаю, ты не веришь в то, что я рассказала тебе про маму, – начинаю я и кладу на кухонный стол коробку, придвигая табуретку.

Папа закрывает глаза и принимается пощипывать двумя пальцами переносицу.

– Сны иногда кажутся невероятно реальными. Неважно, как сильно ты хочешь, чтобы они оказались правдой – это не так...

– Но ты можешь хотя бы взглянуть? – говорю я ему. – Птица снова была здесь. Она принесла эту коробку.

Он смотрит на меня с мучительным выражением на лице.

– Ли.

– Я серьезно!

– На упаковке нет никаких почтовых ярлыков, – медленно произносит он.

– Просто послушай. – Я пытаюсь подавить злобу. – Я понимаю, что это звучит глупо.

Он качает головой.

У раздвижных дверей, ведущих в задний двор, мяукает кошка, и папа толкает стеклянную половину, чтобы ее выпустить. Мэймэй беззвучно проскальзывает в проем – словно демонстрируя, что больше не в силах выносить наш разговор.

Дверь захлопывается.

– Как ты относишься к тому, чтобы еще раз сходить на прием к доктору О’Брайану...

Я крепко стискиваю зубы и снова разжимаю их.

– Пап, *просто посмотри в коробку*. Пожалуйста.

Он издает стон отчаяния и срывает картонную крышку. Движения его рук замедляются, когда он видит содержимое. Аккуратная связка пожелтевших писем. Стопка потертых фотографий; почти все – черно-белые. Папа ослабляет шнурок бархатного мешочка: из него струйкой вытекает серебряная цепочка, а следом за ней – сияющий камешек нефрита. Это что-то прочное и тяжелое, размером почти с папин большой палец. Искусно сделанная спящая цикада.

Отец вдруг сдавленно охает. Он узнал эту цепочку – так же, как и я.

Это цепочка, которую моя мать носила каждый божий день.

– Откуда она здесь? – шепчет он, проводя пальцем по крылу. – Я ведь выслал все почтой.

– Она сказала, что коробка – от моих бабушки и дедушки.

Папа хмурится и моргает, глядя на меня. Он кажется пожилым и уставшим. Не только его тело – но и его лицо, его глаза.

Я беру одну из черно-белых фотографий. Две маленькие девочки сидят на краешках резных деревянных стульев со спинками выше их голов. Я уже как-то видела их на другом снимке – том, который Аксель помог мне откопать в нашем подвале. Здесь они выглядят чуть старше. Одна из девочек переросла вторую.

– Кто это? – спрашиваю я, показывая на девочек.

Папа долго смотрит на фотографию.

– Не знаю.

– Ладно, а что сказано в записке? – продолжаю наседавать я.

– В какой записке? – спрашивает он; но вот она уже у него в руках, и он читает ее, и у него начинается подергиваться глаз.

Я вглядывалась в этот листок так долго, что помню чернильный узор строчек, буквы со штрихами, стремящимися вниз и взлетающими наверх. Китайский я узнаю везде. Им исписаны все бумаги в кабинете моего отца.

Когда я была маленькой, то часто ползала по ворсистому ковру у него в кабинете, пока он рисовал на огромных листах офисного блокнота иероглифы, которые прикреплял к стене. Я водила пальцами в воздухе, повторяя порядок штрихов. Он разбивал иероглифы на составляющие, учил меня различать иероглифические ключи ²: «Этот похож на ухо, да?» или «Видишь, как этот иероглиф похож на тот, что обозначает слово “человек”, только ты как будто смотришь на этого человека с другого ракурса?»

Мандарин был нашим секретным языком; больше всего мне нравилось обсуждать окружающих в магазине или ресторане, когда они нас не понимали. «У этого мальчика смешная шапка», – подхихикивая, говорила я папе.

Мама не хотела участвовать в нашей игре, хотя я все время думала, что изначально это ведь именно *ее* секретный язык. Настолько *ее*, насколько он никогда не смог бы стать моим или папиным.

И так же, как и многое другое, наш секретный язык со временем просто исчез. За последние несколько лет я не произнесла на мандарине ни слова.

Конечно, кое-что я еще помню. Например, *nǐ hao* означает *привет*, а *xièxie* – *спасибо*. Иногда я спрашивала у мамы, могу ли я ходить по выходным в китайскую школу, как делали несколько моих знакомых. Но она всегда уходила от ответа.

«Может, в следующем году», – говорила она. Или: «В университете ты сможешь выбрать любые предметы, какие только захочешь».

Я до сих пор помню, как, отвечая на этот вопрос, она всегда избегала моего взгляда.

Жаль, что я не могу читать на китайском. По-настоящему читать. Я до сих пор знаю несколько основных иероглифов, таких как *wo* и *nǐ* – *я* и *ты*.

И *tata*. Мать.

Но я не могу прочитать, кому адресовано письмо. Не могу даже понять, кто его написал, – хотя несколько догадок у меня есть.

– Это от моей... *waiipo*? – Слоги слова, означающего «бабушка по материнской линии», застревают у меня в горле. «Уай пуа» – примерно так это звучит. Я помню, как папа учил меня этим словам, но не думала, что когда-то придется использовать их в контексте, относящемся ко мне самой.

Сколько все-таки горькой иронии в том, что китайская и тайваньская кровь течет по *моим* венам, но язык при этом знает мой ирландско-американский отец.

Почему мама была такой упрямой? Почему забросила мандарин и разговаривала с нами только на английском? Этот вопрос я задавала себе тысячу раз, но никогда еще с таким отчаянием, как сейчас – глядя на эти загадочные иероглифы. Я всегда считала, что однажды она мне ответит.

Папа прочищает горло.

– Это написал твой *waigong*. Но письмо от них обоих.

Я киваю.

– И?

– Оно адресовано тебе, – говорит он с недоверием.

Возбуждение, и волнение, и надежда, и страх смешиваются где-то в глубине желудка. Много лет я ждала, когда смогу встретиться с ними. Неужели это наконец произойдет?

Одна из фотографий выпадает из стопки. Жесткую, с хрустящими уголками, ее явно хранили очень бережно.

² Иероглифические ключи – графические элементы или простые иероглифы китайской письменности, из которых состоят сложные иероглифы.

На снимке моя мать в больших очках с толстой оправой, в светлом платье, на губах полуулыбка. Она выглядит совсем молодо, кажется, еще подросток. Наверное, эту карточку сделали до того, как она уехала из Тайваня на учебу в Америку.

Была ли она счастлива тогда? Этот вопрос заполняет собой все пространство вокруг меня, неся с собой синеватое прикосновение грусти.

Я слышу звук быстро втягиваемого воздуха. Подняв глаза, я вижу, что папины губы сжались в тонкую линию. Такое ощущение, что он задержал дыхание.

– Пап?

– М? – он неохотно отрывает глаза от фотографии.

– Можешь прочитать мне письмо?

Он несколько раз моргает, затем откашливается. Принимается читать. Поначалу медленно, затем – встраиваясь в ритм; его преподавательский голос звучит громко и чисто.

Мандарин необычайно музыкален: тона то стремятся вверх, то падают вниз, каждое слово будто маленькими волнами накатывает на другое. Время от времени мне удается уловить знакомые слова и фразы, но в целом смысл письма остается для меня загадкой.

Папа заканчивает читать и, увидев выражение моего лица, объясняет:

– В двух словах твои бабушка с дедушкой хотят, чтобы ты их навестила. То есть приехала к ним в Тайбэй.

Так вот чего хочет птица? В голове вдруг эхом звучит голос матери: *«Возьми коробку с собой... Когда поедешь»*.

Я поворачиваюсь к нему.

– А ты?

Папа вопросительно смотрит на меня.

– Что я?

– А с тобой они что, не хотят встретиться?

– Мы уже встречались.

Меня словно со всей силы ударили в грудь.

– *Что?..* Ты ведь говорил, что никогда не видел их.

– Нет, – едва слышно произносит он. – Так говорила твоя мать.

Я не могу растолковать его выражение лица.

Почему я до сих пор столько не знаю о собственной семье?

– Они в курсе насчет мамы? – спрашиваю я.

Папа кивает.

Я слушаю, как часы отчетливо отбивают каждую секунду. Если бы я только могла отмотать время назад и задать маме тысячу вопросов про каждую мелочь. Какими же важными кажутся эти моменты сейчас и каким необъятным – их отсутствие. Нужно было сбересть каждый из них, собрать, как живительные капли воды в пустыне. А я всегда думала, что у меня есть целый оазис.

Но, возможно, именно поэтому и прилетела птица. Возможно, она понимает, что без ответов осталось слишком много вопросов. По телу волной пробегает дрожь. В голове вдруг возникает мысль: Каро, которая верит в призраков, наверняка решила бы, что все это – проделки привидения.

«Возьми коробку с собой. Когда поедешь». Птица намекала, что я должна куда-то отправиться. Я почти уверена, что вариант здесь только один: к родителям моей матери.

Может быть, там я найду ответы.

Я хочу, чтобы вы помнили

– Так можно мне поехать? В Тайбэй?

Папа качает головой.

– Все не так просто, как тебе кажется.

– Тогда *объясни* мне.

– Сейчас неподходящее время, – говорит он и слегка наклоняет голову в движении, которое означает: *этот разговор окончен*.

После этого птица больше не возвращается.

10

Когда я закрываю глаза, пытаюсь заснуть, все начинает кружиться и переворачиваться с ног на голову. За закрытыми веками я вижу снова и снова приземляющуюся птицу. Я слышу мамин теплый голос.

Я резко открываю глаза и не задерживаю взгляд ни на чем конкретном, позволяя им привыкнуть к темноте. Но чем дольше я смотрю, тем сильнее меняется все вокруг. Углы стола округляются. Другой конец дивана будто сдувается, хотя мое тело остается на месте. Ковер под ногами превращается в темное, волнующееся море, отражающее полосы лунного света, которые повторяют форму оконных рам. Вход в гостиную плавится и исчезает, стены стекают вниз, как на картинах сюрреалистов.

– Папа? – тихо зову я.

Комната возвращается к привычному облику. Я жду ответа: слышал ли он меня? Но сверху не доносится ни звука.

Пытаться заснуть бессмысленно. Да мне это сейчас и не нужно.

Я сажусь и беру ноутбук; резкий свет экрана заполняет комнату холодным сиянием. Я успокаиваюсь, когда наконец могу снова четко различить острые углы фортепианной банкетки, прямые линии штор, спускающихся вдоль окон.

Когда я печатаю слово «самоубийство», руки покрываются потом, и я почти уверена, что там, наверху, на раскладушке у себя в кабинете, отец слышит, как я нажимаю каждую букву. Меньше всего мне хотелось бы возвращаться в офис доктора О'Брайана, терпеть его носовой голос и отвечать на вопросы о том, как я «справляюсь» – а именно это произойдет, если отец узнает, *что* я ищу в интернете.

Я проваливаюсь поглубже в старый диван и зарываю голые ноги в гору подушек, перед тем как изучить результаты поиска.

Ссылка за ссылкой, страница за страницей. Слова роятся на экране, забираются в каждый доступный уголок, расплываются, как капли дождя на стекле, а затем снова становятся контрастными, царапая мне зрение.

Внутренности совершают болезненное сальто, словно я нахожусь на самой вершине американских горок и вот-вот полечу вниз. Только в этот раз облегчение не наступит. Я чувствую лишь напряжение, закручивающееся по спирали все туже и туже, сжимающее все мои органы и сдавливающее дыхание, угрожая явить миру мой последний прием пищи.

Из прочитанного я делаю вывод, что мама вообще не должна была умереть. Ее должны были найти до того, как она потеряла слишком много крови. Ее желудок должен быть отвергнут все, что она проглотила.

Я не могу не задаваться вопросом – было ли ей больно физически. Я пытаюсь представить, каково это – страдать так, что смерть кажется спасением. Так это объяснял доктор О'Брайан. Тем, что мама страдала.

Страдала страдала страдала страдала страдала страдала.

Слово вихрем кружит у меня в голове до тех пор, пока его слоги не теряют форму и смысл. Оно начинает напоминать название приправы, или имя, или какой-нибудь полудрагоценный камень. Я пытаюсь придумать подходящий цвет, но все, что приходит на ум, – чернота засохшей крови.

Остается надеяться, что, став птицей, мать избавилась от своих мучений.

Папа до сих пор мне не верит.

А если бы верил, изменилось бы что-нибудь?

Разве это не обязанность родителя – верить собственной дочери, когда ей не верит никто другой? Когда это нужно ей больше всего на свете?

Чем дальше я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь в том, что наличие доверия – это основной признак *семьи*. Наверное, с моей семьей что-то не так. Всегда было не так.

Как-то раз в первом классе учитель задал нам сделать семейное древо с родословной. Я помню, как вырезала фигурки мамы и папы, бабули и дедули. Помню, как делала ствол из коробки из-под хлопьев, а листья – из цветного картона.

Мне ужасно не понравилось мое дерево. Оно вышло неровным. Мама не была сиротой, но именно так это и выглядело, когда учитель приколот мое дерево на классный стенд рядом с другими работами. У большинства деревья были симметричными.

После школы я пришла домой и спросила маму: «Почему мы никогда не видимся с бабушкой и дедушкой?» Она ответила: «В смысле? Мы каждую неделю видимся с твоей бабулей». «Нет, с *твоими* родителями, – уточнила я. – Почему мы никогда не празднуем с ними День благодарения?» «Они слишком далеко живут», – резко ответила мама.

Я понятия не имела, что сказала не так, но с тех пор хорошо усвоила: интересоваться бабушкой и дедушкой по маминей линии не стоит.

Еще одну попытку я предприняла в средних классах, когда наш учитель обществоведения проводил уроки по восточноазиатским культурам. «Мистер Стейнберг спросил, делали ли кому-нибудь в нашей семье бинтование ног», – обратилась я к маме. «Почему он спросил об этом тебя?» – ответила мама с оборонительной интонацией в голосе, и я вспомнила странное выражение тоски в ее взгляде, когда она подняла глаза от ножа и разделочной доски. «Я сказала, что ты выросла на Тайване», – пояснила я. Она помолчала и посмотрела вверх, словно в уголки своих глаз. «Кажется, моей бабушке, которая жила в Китае, – твоей прабабушке – бинтовали ноги». – «А твоей маме нет?» – «Нет». Я выждала несколько секунд. «Почему ты никогда не звонишь своим родителям? Не пишешь им писем?» Мама бросила на меня резкий взгляд. «У нас не хорошие отношения. Мы поссорились». – «Но почему вы не можете помириться?» Когда она попыталась ответить, ее явно разрывало от противоречий: «Это трудно. Иногда все не так просто. Ты поймешь, когда подрастешь».

Этот ответ безумно меня разозлил.

11

Ближе к полуночи в нашем доме – одно за другим – распахиваются все окна; со дня, как я показала папе коробку, прошла неделя.

Сидя на диване, я слышу скрип и стук рам, а спустя еще секунду – шуршащий звук, будто что-то движется вдоль москитных сеток. Это что-то, кажется, злится и пытается проникнуть внутрь.

Люди? Воры?

Шторы в гостиной пухло вздымаются в моем направлении. Огибая их по углам, в комнату пробивается шепот ветра.

Мама?

Меня пронизывает ужас; он пробирается глубоко внутрь – как ледяная вода в ткань. Я сижу не шевелясь, будто приклеенная к дивану. В сознании вспыхивает крошечная искорка логики – с ее помощью я пытаюсь побороть оцепенение, понимая: застыв на диване, я вряд ли помогу делу.

– Мам? – Мой голос дрожит и поскрипывает.

Это слово – как заклинание. Шуршание мгновенно прекращается. Ветер стихает. Тишина – все, что остается в ответ.

Я осматриваюсь по сторонам, проверяю кухню. Ничего.

Затем я слышу, как вдалеке что-то ломается, и – снова шуршание. Что бы это ни было, оно переместилось на второй этаж и теперь гораздо зловеще. Там, наверху, на высоких нотах пронзительно свистит ветер.

Я слышу, как папа громко ругается у себя в кабинете. Слышу его тяжелые шаги, скрипящие по полу из одного конца дома в другой и обратно. Затем следует очередная порция ругательств.

– Что там происходит? – кричу я.

– Я разберусь! – кричит он в ответ. Правда, звучит это не слишком убедительно.

Я не хочу подниматься. Но, похоже, помощь ему понадобится.

С каждым шагом ноги все сильнее сдавливаются страхом; этот страх пытается заставить меня застыть на месте, превращает мои стопы в свинцовые и неповоротливые.

Не считая случая с белой краской, на втором этаже я появляюсь крайне редко. Поднимаясь по ступеням, я не могу избавиться от мысли, что приближаюсь к месту, где лежало тело.

Тело.

Пятно.

На полпути слышу еще одно крушение – в этот раз настолько громкое, что я съеживаюсь и закрываю уши ладонями.

Я зажмуриваюсь и резко сажусь.

Тело тело тело. Пятно пятно пятно.

– Ли?

Это папа – он стоит наверху лестницы и опирается на перила, словно после поражения.

– Что это? – спрашиваю я.

Он качает головой.

В то же мгновение поднимаются последние порывы ветра: они влетают в открытые окна, сталкиваются над лестницей, закручиваясь в миниатюрный торнадо. Затем в него внедряются алые частички; папа борется с вихрем, снова и снова пытаюсь обхватить его руками.

Внезапно ветер стихает; все успокаивается. Порванная москитная сетка, как перекачанное поле, летит через второй этаж, потом несколько ступеней вниз и наконец останавливается.

ется. Папу облепляют какие-то красные частички; с холодным и гневным выражением на лице он пытается их стряхнуть.

– Что это? – спрашиваю я, всматриваясь. Но едва успев задать этот вопрос, я уже знаю ответ. Теперь ему даже необязательно отвечать.

– Перья, – говорит он. – Это чертовы перья.

Дни сменяют друг друга, но мы не обсуждаем случившееся. Ни слова о перьях, ни слова о птице. Папа делает вид, что никакого странного ветра в нашем доме и в помине не было. Но он молчаливее обычного – значит, все-таки испугался и даже больше, чем я. Проходит долгая неделя, полная холодного молчания, неопределенности и карбазольного фиолетового.

А потом он бронирует нам билеты на самолет.

12

Перелет до Тайбэя составляет пятнадцать с половиной часов. Прямой рейс. Не припомню, чтобы когда-нибудь мне приходилось так долго сидеть не вставая. В глубине души я не уверена, насколько это разумно: пересекать полнеба по дороге к людям, которых я не видела никогда в жизни. Но к черту сомнения. Мне с трудом верится, что все это по-настоящему, что я лечу встретиться с родными моей мамы. Я постоянно беспокоюсь, что в любой момент папа может встать и как-нибудь заставить пилота повернуть самолет обратно.

Ему понадобилось около недели, чтобы уладить все дела на работе. На сборы нам хватило одного вечера. Я была готова лететь одна, но он меня не отпустил. Впрочем, все это уже не имеет значения. Важно лишь одно: мы делаем то, чего хочет мама. Или, по крайней мере, то, чего, *я думаю*, она хочет.

В машине по дороге в аэропорт папа сыпал «интересными фактами» о Тайване. Внезапно он очень увлекся этим путешествием, будто это была его идея.

– Ли, ты будешь в восторге. Тайбэй просто изумительный город. Там на каждом углу магазины «Севен-Элевен»³ – люди называют их просто «семерками». У них музыка доносится даже из мусорных грузовиков; очень необычно! Мы обязательно поднимемся на Тайбэй 101 – один из самых высоких небоскребов в мире. А еще мы как раз застанем фестиваль духов – можем сходить, если решим на день съездить в Цзилун, кстати, пишется это не так, как слышится... Пишется это так: К-И-Л-У-Н-Г...

– Изумительно, – сказала я, используя его словечко. Прозвучало чуть равнодушнее, чем я планировала. Папа замолчал.

Перед самым взлетом я проверила электронную почту. Сверху, над кучей непрочитанных писем с соболезнованиями, появился новый имейл:

ОТ: axeldereckmoreno@gmail.com
КОМУ: leighinsandalwoodred@gmail.com
ТЕМА: (без темы)

Я не стала его читать. Даже не взглянула на первую строчку. Отчасти мне ужасно хочется, чтобы это было одно из его обычных посланий. Я нажму «открыть» и увижу милую и глупую шутку, или эскиз, который он нарисовал в очередном своем новом приложении, или забавную фотографию, где он дурачится с сестрой.

Если я не открою письмо, то смогу представлять, что наша дружба осталась прежней.

Если я не открою письмо, это будет означать, что ничего не изменилось.

Рядом спит папа; на маленьком экране перед ним идет новый фильм про супергероев. Его глаза закрыты, лицо, слегка подрагивая, опускается все ниже к шее, дешевые самолетные наушники сползают с головы. Его локоть, съезжая, оказывается на моей стороне подлокотника. Последний раз он обнимал меня еще до того, как мать стала птицей. Как будто эти объятия означали бы, что он сдался горю. Как будто я хрупкая скорлупа, которую он боится разбить.

А я-то думала, что уже не нуждаюсь в объятиях, но это случайное прикосновение локтя... Я с радостью принимаю его компанию, его тепло.

Мои пальцы словно лед. Пытаясь согреться, я обвиваю ими собственную шею. Холодно. Я представляю диаграмму на стене в кабинете врача: электрически-синий мороз идет через все тело от кончиков пальцев к самому центру.

³ 7-Eleven – сеть мини-маркетов.

Возможно, так чувствуют себя люди, когда умирают. Ощущала ли мама этот холод в самом конце? Возможно, каждый раз, когда у меня немеют пальцы, – это робко подкрадывается смерть. Возможно, мое тело слишком сильное, слишком живое, чтобы сдать ей.

А возможно, с этим холодом начинается превращение в птицу.

13

Небо в Тайбэе окрашено в такой оттенок фиолетового, что нельзя отличить утро от сумерек. Папа говорит, сейчас вечер.

Лицо буквально плавится; по каждому сантиметру тела ползут капельки пота. В тихом переулке между жилыми домами папа ищет в телефоне точный номер квартиры. Уличный фонарь высоко вверх вытягивает свою длинную шею, отбрасывая резкий флуоресцентный свет. Двери здания представляют собой исцарапанные металлические листы. По краям окон – решетки. Как же все это не похоже на наш район дома, в Америке. Здесь нет ярких дверей и окон с декоративными ставнями. Нет ни участков, ни передних крылец, ни парковок.

Над некоторыми дверными проемами наклеены длинные красные плакаты с китайскими иероглифами из блестящей золотой фольги; каждый – размером с мою руку. А снаружи, в самом переулке – скопление мопедов и велосипедов, одежда на сушилках из бамбуковых палок, пыльный седан. Из-за угла выплывают ароматы – сочетание дымка благовоний и чесночного масла.

Нечастые прохожие оборачиваются и бросают на нас любопытные взгляды. Папа принимает рывок в карманах – его руки шуршат разочарованием.

– Они ведь знают, что мы здесь, да? – Внезапно я начинаю сомневаться в правильности решения приехать в Тайвань. Я вспоминаю, как мрачнело лицо матери каждый раз, когда я спрашивала ее про родителей; может, действительно есть причина, по которой ехать сюда не стоило?

Воздух тяжелый настолько, что я почти убеждена: над городом нависает гигантский кусок брезента, удерживающий внутри горячую влажность всех наших вдохов и выдохов. Пролетает ветерок, но облегчения не приносит – лишь зачесывает волосы у меня на руках в противоположном направлении. Я нервно потираю локти. Под светом лампы я вижу, как у папы трясутся руки.

– Пап? Ты в порядке?

– Подожди минуту, – напряженно произносит он. Затем перекидывает рюкзак вперед и начинает в нем копать.

Я всматриваюсь в пустую дорогу и прислушиваюсь к его копошениям. Бумаги с хлопком и шумным вздохом падают на асфальт, беспорядочно рассыпаясь в разные стороны. Я нагибаюсь, чтобы помочь папе все собрать, и тут соседняя дверь со скрипом открывается, заливая все сияющим прозрачным светом.

На пороге, сгорбившись, стоит хрупкая женщина и косится на нас.

– *Байнэн*, – произносит она.

Мне требуется несколько секунд, чтобы понять, что женщина пытается выговорить папино имя. Я резко встаю; но папа поднимается с корточек не так быстро.

Женщина колеблется, затем добавляет:

– Ли.

Я глотаю воздух, пока этот короткий слог узлом завязывается у меня в горле. Ее голос – одновременно и мамин, и нет.

– *Name wan cai dao. Chiguole mei?*

Очевидно, что женщина не знает английского.

– Ли! – снова произносит она и шагает вперед.

Ну а чего я ожидала? Что после всех этих лет мои бабушка с дедушкой установят себе копию *Rosetta Stone*⁴? Ведь все их письма были написаны на *китайском*! Где-то на подсо-

⁴ Компьютерная программа для изучения иностранных языков.

знательном уровне я решила, что мамино знание английского должно было передаваться им – перейти по наследству, только в обратную сторону.

Папа поворачивается и смотрит на меня с ожиданием, словно говоря: *Ты что, забыла все хорошие манеры, которым я тебя учил?*

– *Ni hao.* – Я слышу, что тона звучат не так, как надо, пока я вверх-вниз скольжу голосом по слогам. Слишком давно я не произносила этих слов.

– *Waipo hao,* – поправляет папа.

Waipo. Точно. *Бабушка.* Это я вспомнила, но все-таки еще не окончательно освоилась. Слишком много времени уходит у меня на поиски маминых черт в этом морщинистом лице.

– *Waipo hao,* – наконец говорю я. Так по-розовому мой голос не звучал еще никогда.

Она снова произносит мое имя и вдобавок – еще цепочку фраз, которые я не могу распознать. А потом – как по волшебству – я вдруг разбираю: *очень красивая.* Она улыбается мне и нежно прикасается пальцами к моим волосам до плеч.

Красивая. *Piaoliang.* С моими-то широкими бедрами и ляжками, как у слона? И лицом – гораздо круглее, чем мамино? И совсем не такой хрупкой фигурой, о которой я всегда мечтала; и волосами – каштановыми вместо черных?

Уайпо заводит меня внутрь, и дверь с визгом захлопывается. Мы с папой втискиваем чемоданы в крошечный лифт. На втором этаже бабушка останавливается и жестом просит нас снять обувь. Вместо тапочек она предлагает нам пенопластовые сандалии.

Мы сворачиваем и оказываемся в маленькой гостиной. Там на диване сидит мужчина – очевидно, мой дедушка, – а рядом с ним стоит деревянная трость. Пошаркивая выцветшими синими тапочками, он пересекает комнату.

– *Waigong hao.* – Мой голос надламывается.

Он чересчур долго кивает, затем опускает голову и кашляет себе в руку. Когда он снова выпрямляется, на лице у него уже сияет улыбка.

Вот бы помнить, как будет *«Рада с вами познакомиться».*

Я всеми силами пытаюсь откопать в памяти хоть какие-нибудь знания, но неожиданно для себя могу думать лишь об Акселе и о том, как на похоронах он спросил меня: *«Какой цвет?»* – а я ответила: *«Белый».*

Белый, как чистый лист. Белый, как мои зубы. Я пытаюсь улыбнуться в ответ.

14

Я отпиваю чай из крошечной чашки; хорошо, что мне есть чем занять руки и рот. В улуне ощущается привкус дыма – от домашнего алтаря ко мне тянутся соленые облачка.

Не прошло и часа с того момента, как мы стояли перед фигурками бодхисаттвы, зажигали благовония и вставляли тонкие, как спагетти, палочки в пиалу с рисом и пеплом. Папа закрыл глаза; я пыталась повторять за ним, но не знала, что делать: молиться, или просто наслаждаться несколькими мгновениями тишины, или прислушиваться к какому-то отдаленному звуку.

В голове бесконечно кружили слова – слова, перечеркнутые внизу того самого листка бумаги.

Я хочу, чтобы вы помнили

Птица хотела, чтобы я приехала, и вот я здесь. Я вдохнула соленый дым и попыталась придумать молитву. *Пожалуйста, скажи, что мне нужно здесь сделать. Пожалуйста, скажи, что мне нужно помнить.*

Ответа не последовало. А чего я ожидала?

Теперь мы все вместе сидим в гостиной. Папа и я – в парчовых креслах, Уайпо и Уайгон – на деревянном диване, усыпанном подушками. Я изучаю их лица под ярким галогеновым светом. Бабушкины тонкие губы растянуты в неизменной улыбке, щеки – слегка рябые, нос – маленький и плоский. В мочках ушей простые золотые колечки, белоснежные волосы собраны в свободный пучок. Дедушка беспрестанно кивает во время разговора; у него по-солдатски короткие седые волосы, немного кривые зубы, на подбородке – россыпь веснушек.

Я пытаюсь найти в их лицах мамы черты. Сильно ли они изменились с тех пор, как она видела их в последний раз? Что стало причиной такой вражды между ними?

Разговаривают в основном папа и Уайпо. Я умудряюсь уловить некоторые слова. *Самолет. Америка. Еда. Погода.*

Как это все-таки странно: сидеть и вести вежливую беседу за чаем, несмотря на весь трагизм обстоятельств, собравших нас здесь.

Папа переводит мне сказанное – будто мы играем в сломанный телефон: это новый дом, они переехали сюда два года назад; дедушка не сказал ни слова с тех пор, как у него случился инсульт; последние несколько недель погода была терпимой, прохладнее, чем обычно, – спасибо океанскому тайфуну, с ним в город наконец пришли дожди. Сахарные яблоки и питайи в этом сезоне особенно хороши. И гуава тоже – Уайпо делает из них смузи.

Кого, черт возьми, интересует гуава, когда моя мать обернулась птицей? У меня сильно трясется коленка.

Папа кладет чемодан на бок и расстегивает молнию; содержимое поблескивает, словно драгоценности в сундуке с сокровищами. Он вытаскивает упаковки с конфетами: «Хершиз», «Годива», «Тутси роллс».

У Уайпо загораются глаза, но затем она качает головой.

– Что случилось? – спрашиваю я.

– Она говорит, что это слишком много, – объясняет папа. – Но я хотел привезти все ее самые любимые.

Эти слова жалят меня коричневым оксидом; в тело вонзается чувство несправедливости. Почему *он* знает, что любит моя бабушка, а я – нет?

Наконец наступает момент, когда нам нечего больше сказать. Воздух заполняет парализующая тишина. Никто не произносит ни слова. Никто не двигается – лишь Уайгон едва заметно кивает самому себе, посасывая конфету.

С каждой секундой мое тело напрягается все больше. Я волнуюсь так, что, кажется, сейчас взорвусь.

Уайпо тянется за пультом от телевизора, и тогда я в панике выкрикиваю на английском: «Подождите!» Тут же из памяти выныривают нужные слова: «*Deng yixia*».

Разве можно нам четверым просто сидеть и смотреть телевизор? Делать вид, что это обычный семейный вечер? На это я точно не рассчитывала.

Все в ожидании уставились на меня. Я поднимаю палец – понятия не имею, является ли этот жест универсальным, – и бегу в гостевую комнату. Коробка лежит у меня в сумке, аккуратно завернутая в джинсы. Я стягиваю с нее крышку.

Секунду я мешкаю – этого ли хочет моя мать? Но как я могу знать наверняка? Терять время нельзя. Если она здесь, я должна ее найти.

– Ли, – предупредительным тоном произносит отец, когда я возвращаюсь в гостиную с коробкой в руках.

Не обращая на него внимания, я встаю на колени между диваном и креслами и начинаю аккуратно извлекать содержимое. Уайпо что-то говорит; мелодия ее голоса вопросительным знаком повисает в воздухе. Папа не отвечает. Встретившись с ним взглядом, я вижу его нахмуренные брови и недовольно опущенный уголок губ. Он – против.

Что ж, мне все равно. Не для того я проделала весь этот путь, чтобы скрывать правду.

Я поворачиваюсь к бабушке и дедушке и указываю вниз, на свой набор. Письма аккуратно стопкой. Разложенные веером фотографии. Кулон-цикада – я наклоняю бархатный мешочек, и наружу струится цепочка.

Уайгон перестает кивать.

Бабушка опускается на колени рядом со мной и начинает перебирать пальцами серебряную цепочку, рассматривает фигурку цикады. «*Baineng*», – говорит она, и с ее губ срывается очередная вереница слов; слоги появляются один за другим, то гладкие, то узловатые, то холмики, то равнины.

Папа что-то медленно произносит в ответ, не отрывая глаз от пола. Услышав его слова, бабушка начинает трести головой, а ее тело дребезжит, будто до предела натянутая струна.

– Что происходит? – Я скрещиваю на груди руки. – Скажи мне.

Папа наконец поднимает глаза.

– Откуда, ты говоришь, у тебя эта коробка?

Внутри меня, словно зажженная спичка, вспыхивает ярость. Огонь быстро распространяется по грудной клетке.

– Я тебе говорила. Мама прилетала в обличии птицы...

– Хватит. Ли, это уже перебор. – Его голос словно раскаленная пружина.

Я встаю.

– Это правда. Я бы не стала лгать по поводу мамы.

Бабушка начинает раскачиваться взад-вперед.

– Переведи, что она сказала, – требую я.

Папа с шумом втягивает носом воздух и крепко сжимает веки.

– Ты не должна была получить эту коробку.

Я закатываю глаза.

– Что, черт возьми, это значит?

Забывшись, я перестаю следить за языком. Его лицо напрягается, но, поскольку сейчас есть проблемы важнее, он решает не комментировать мою грубость.

– Они не отправляли эту коробку. На ней нет никаких марок.

– Я же говорила, – произношу я, в этот раз стараясь следить за тоном, – эта коробку не посылали почтой...

– *Нет*, – перебивает он. – Послушай. Бабушка с дедушкой собрали эту посылку и хотели отправить ее. Но передумали. Вместо этого они ее сожгли, все фотографии и письма. И кулон, который я им отправил. Они все сожгли.

Уайпо что-то шепчет, трясая головой.

– Все эти вещи они сожгли, чтобы твоя мать смогла взять их в свое новое путешествие, – переводит папа; его голос звучит все тише.

– Но ведь мама... птица... – Я чувствую, как все начинает кружиться и рушиться. – Ты должен рассказать им про птицу.

Папа с усилием выталкивает себя из кресла.

– Разговор окончен.

Я с недоверием прислушиваюсь к звуку его шагов, скрипящих в коридоре; затем за ним с щелчком захлопывается дверь гостевой спальни.

Уайгон закрывает глаза, сжимая свою трость, и издает долгий высокий звук – нечто между гулом и хрипом, такой тихий, что его едва слышно. Я поворачиваюсь к бабушке.

– *Mama shi*, – начинаю я, но мне требуется еще несколько секунд, чтобы вспомнить слово «птица», – *niao*.

Правильно ли я произнесла его?

Бабушка, моргая, смотрит на меня.

Я хватаю блокнот и ручку со столика рядом с диваном, на ходу пытаюсь придумать доходчивое объяснение.

В комнате снова повисает тишина – оглушительнее некуда. Но в этот раз никто не пытается ее нарушить.

Я решаюсь сделать быстрый набросок маминого лица. Я рисую его впервые с тех пор, как она превратилась в птицу. Поначалу процесс идет медленней, чем я ожидала. Но мои пальцы все помнят – мышцы знают, как рисовать ее темные глаза, родинку на правой скуле, изгиб бровей. И вот ее лицо уже материализуется на листе бумаги.

Уайпо нагибается ко мне, и я разворачиваю блокнот. Она внимательно рассматривает рисунок; прищуривается и моргает, и наконец в глазах у нее вспыхивает озарение. Я показываю на фотографию в коробке и снова на рисунок – для подтверждения. «*Мама*», – снова говорю я. Бабушка кивает, и тогда я рисую стрелу. Там, где она заканчивается, я начинаю изображать птицу.

Уайпо смотрит долго, не отрываясь, наблюдая за каждым движением ручки. Чернила, похоже, подсохли, и штрихи выходят неравномерными; я никак не могу прорисовать крылья, но это неважно. Это птица – перепутать нельзя. Я с триумфом смотрю на бабушку.

У нее на лице появляется виноватое выражение. Она качает головой и шепчет что-то на мандарине.

Что ж, попробуем иначе. На новой странице я рисую большое пушистое тельце гусеницы. Очередная стрелка показывает вправо – там я изображаю бабочку. Я еще не успела закончить, но бабушка уже активно кивает. Она поняла. Пальцем она проводит по стрелке от одного существа к другому.

Я вырываю страницу с изображениями мамы и птицы и кладу рядом со второй страницей – с гусеницей и бабочкой.

Пару секунд слышно лишь тиканье крошечных часов на полке. А потом Уайпо понимающе вздыхает. Она прикасается к дедушкиной руке, он открывает глаза и смотрит вниз на два листка бумаги.

– Моя мать превратилась в птицу, – произношу я по-английски.

Бабушка кивает.

15

Я просыпаюсь от резких голосов. Медленно сажусь, словно потерянная в пространстве. В глазах болезненная сухость, а мышцы будто покалывает тысячей крошечных иголочек. Я поспала впервые с тех пор, как птица принесла в наш дом посылку. Я пытаюсь вынырнуть из болота усталости, но становится только хуже.

Моя рука сложена в кулак; разжав пальцы, я вижу на ладони теплую цепочку с цикадой. В местах, где в кожу врезались уголки кулона, остались вмятинки. Цепочка прилипла к коже; я стряхиваю ее на подушку.

Снаружи, за отодвинутым уголком шторы – спокойный, погруженный во тьму мир. Еще не рассвело.

Децибел за децибелом нарастает шум голосов. Бабушкин звучит жестко и оборонительно. У папы – необычайно высокий и почему-то немного носовой тембр. Голос бабушки окрашен в охру, а папин – в королевский синий. Их слова сталкиваются с такой скоростью и силой, что я не могу уловить ни одной знакомой фразы.

В доме только одна гостевая спальня; прошлой ночью, когда я зашла в комнату, папа, уступив мне постель, уже расположился на полу – наверняка лишь притворяясь спящим на своей груди одеял. Я не особенно надеялась уснуть – уж точно не после того, как выяснилось, что коробка на самом деле была уничтожена.

Когда он встал? Который сейчас час? Лиловое замешательство застилает сознание.

Когда я дохожу до конца коридора, я вижу папу – он стоит ко мне спиной; но по тому, как вздрагивают его плечи и как он прижимает к голове кулак, я понимаю – он плачет. Впервые со дня похорон я вижу его плачущим.

Дедушка стоит на другом конце комнаты – с тем же успехом это мог бы быть другой конец Тихого океана, – одной рукой хватаясь за спинку дивана. На лице у него застыло грозное выражение. В дверном проеме, разделяющем кухню и гостиную, глядя в пол и трясая головой, стоит бабушка.

На протяжении бесконечной беззвучной минуты меня никто не замечает. Затем все они одновременно вдруг смотрят так, словно обо мне объявили на какой-то неведомой мне частоте. Уайпо мгновенно отрывает взгляд от пола. Папа разворачивается.

– Прости, Ли, – выпаливает он, бабушка в унисон произносит что-то на китайском. Отец направляется обратно в комнату для гостей, проносясь мимо меня с такой скоростью, что воздух превращается в ветер.

Уайпо ныряет в кухню и мгновенно возвращается, сжимая в руках пластиковый контейнер. Она перечисляет слова, которые звучат как музыка – и в то же время не звучат никак.

– Простить за что? – Я разворачиваюсь, чтобы мой голос догнал папу в другом конце коридора.

– Она спрашивает, чего тебе хотелось бы поесть, – переводит папа через плечо.

Я делаю шаг в его сторону.

– Пап, что ты делаешь? Что происходит?

Уайпо бережно берет меня за локоть и отводит обратно в кухню. Пакет за пакетом, коробку за коробкой вынимает она из холодильника продукты, предлагая мне бесчисленные варианты обеда. Овощи, сырые дамплинги, разнообразные каши, сыр тофу, маринады...

– *Yao buyao?*

– *Yao*, – отвечаю я. *Да. Хочу.* Слава богу, хоть это я поняла.

Ее глаза загораются при каждой моей попытке изъясниться на китайском. Она берет сковороду, а я разворачиваюсь в коридор ровно в ту секунду, когда папа выкатывает из комнаты свой чемодан и рюкзак.

– Папа!

Он виновато на меня смотрит.

– Прости, Ли, я не могу.

– *Что?*

Я перевожу взгляд на дедушку, который теперь сидит на диване. Его глаза закрыты, плечи не двигаются.

– Твоя мать... – Папин голос срывается. – Она не хотела, чтобы мы спорили.

Я выпячиваю подбородок.

– Я ни с кем не спору.

– Она бы не хотела, чтобы мы злились... Или держали обиду друг на друга. Ни из-за нее, ни из-за прошлого. Это именно то, чего она пыталась избежать. А теперь я нарушаю обещания, которые дал ей, когда мы поженились.

– Вы поженились почти двадцать лет назад. Все меняется.

Он устало смотрит на меня.

– Я тоже так думал. Но меняется не все.

Я скрещиваю руки на груди.

– Мы *только что* приехали. Ты не можешь просто взять и заставить меня уйти.

– Я и не заставляю, – поспешно отвечает папа. – Я не заставляю тебя уезжать. Понимаешь? Ты можешь остаться, а я пока побуду в Гонконге...

Я не верю своим ушам – меня встряхивает, как при землетрясении.

– Ты что, *шутить*? Ты хочешь... просто *оставить* меня? Здесь?

– Ты в надежных руках, – произносит он, потирая виски. Под глазами у него темные мешки, в волосах – нити седины. – Ты останешься с родными. Я вернусь за тобой, когда будешь готова ехать домой. А я пока куплю тебе сим-карту. И за углом я видел интернет-кафе, так что можешь...

– Они ведь даже не говорят по-английски! Как я буду с ними общаться?

– Практикуй китайский, – тихо отвечает он. – Ты ведь всегда хотела...

Все это похоже на шутку. Он что, смеется? Ну что я могу сказать на китайском? Да практически ничего.

Кто-то должен придумать закон, который запрещал бы всем родителям использовать то, что их дети однажды им сказали, против них самих.

Я наблюдаю, как он вытаскивает чемодан на улицу, сбрасывает тапочки и просовывает ноги в ботинки, даже не развязывая их. Прежде чем закрыть за собой дверь, он произносит голосом, пронизанным виной цвета фуксии:

– Я тебя люблю, Ли.

Я слишком зла, чтобы отвечать.

Никто даже не прощается с ним.

16

В памяти медленно оживают слова и фразы на китайском, которые я когда-то разучивала:

Shengqi = злиться

Weisheme? = зачем?

Hao buhao? = нормально?

Buhao. Не нормально. А точнее, очень даже плохо.

Я поверить не могу, что меньше часа назад стояла и смотрела, как уезжает папа. Отчасти я испытываю облегчение. Отчасти – отвращение. Как я без его помощи получу ответы на свои вопросы? Как отыщу птицу? Ализариновым пунцовым во мне вспыхивает ярость, и в горле, готовый вырваться наружу, застревает крик.

Я сижу на кровати в гостевой спальне и перебираю на коленях подвеску. Прохладная серебряная цепочка струится в моих руках. Цикада на кулоне выглядит чуть ли не живее настоящей.

Как так вышло, что я держу ее на ладони? Письма, фотографии – как они сохранились?

Если что-то поджечь – оно сгорит. Но эти предметы не сгорели.

Мой гнев шипит и брызжет, словно зажженная спичка, соприкоснувшаяся с водой; внезапно испаряются все чувства, кроме одного – это чувство невероятного измождения.

Утренний свет просачивается внутрь, обволакивая пыльные края штор. Я отодвигаю их в сторону, чтобы взглянуть на город.

Мой взгляд останавливается на двух круглых блестящих глазах цвета пламени с чернильными зрачками. Они совсем рядом – прямо за оконной решеткой, сосредоточенно смотрят на меня. А вот и клюв – длинный, заостренный, угольно-черный. Алые перья загибаются кверху, переходя в хохолок на макушке.

Воздух словно прилипает к стенкам гортани; желудок резко сжимается. Паника смешивается с чувством облегчения, переливаясь смесью оттенков оранжевого и желтого.

– Мам?..

Я протягиваю руку, и пальцы врезаются в стекло. В испуге птица быстро отворачивается. Она поднимает клюв к облакам и широко его раскрывает. Крик прорезает небеса и вибрирует в оконном стекле.

Она собирается улететь; одна лапка соскальзывает с металлических прутьев, задевая москитную сетку.

Внезапно дверь с шумом открывается, и в комнату робко заходит Уайпо – вид у нее довольно обезумевший.

– *Мама*, – только и успеваю сказать я и вылетаю мимо нее в коридор; ноги судорожно пытаются влезть в первую попавшуюся пару обуви. Я распахиваю входную дверь, игнорирую лифт и несусь вниз по ступеням; сандалии немного велики и безостановочно *хлоп-хлоп-хлопают* на ступнях.

– Ли! – зовет сверху Уайпо, но я уже внизу лестницы, готова вырваться наружу в утренний свет.

Где же она?

Я пытаюсь восстановить дыхание, чтобы в легкие снова поступало достаточно воздуха и я снова смогла здраво мыслить. В конце переулочка я поворачиваю направо и оказываюсь позади здания, которое мои бабушка с дедушкой называют домом.

Почему вдруг так потемнело?

Я ищу глазами окно с порванной москитной сеткой.

Небеса разверзаются, и на землю обрушивается теплый дождь. Через несколько секунд на моем теле не остается ни одного сухого участка.

Птицы нигде не видно. Я смотрю наверх, но вижу лишь широкие равнины серого.

– Ли! – Уайпо, тяжело дыша, одной рукой набрасывает на меня дождевик. Затем раскрывает светло-розовый зонтик со сломанной спицей и бормочет что-то про дождь. Из-за шума грозы я с трудом ее слышу.

Дома она дает мне сухую одежду. Вытирает мне волосы полотенцем, сушит их феном – воздух дует горячо и стремительно. Как странно ощущать кожей головы ее пальцы, такие нежные и уверенные. Закрыв глаза, я представляю, что это руки моей матери.



Проморгавшись, я первым делом замечаю на стуле монотонно жужжащий вентилятор. Этот звук напоминает летний гул суеящихся над травой насекомых; и то, как я сидела в поле и рисовала деревья кусочком угля; и Акселя, со смешной гримасой осматривающего свой прыщ на ноге – не клещ ли; и небо, похожее на туго натянутую синюю простынь.

Какой-то странный, необъяснимый импульс заставляет меня вылезти из кровати и подойти к комоду. Я открываю верхний левый ящик – в нем лежат лишь два предмета: длинное изогнутое красное перо и узкая прямоугольная коробочка, которую я раньше не видела.

Сначала я беру в руки перо. Оно немного маслится между пальцами и резко пахнет диким мускусом. Очень похоже на то перо, которое осталось у меня от мамы-птицы. Может, это что-то вроде послания? Как так вышло – не зная, что найду, я точно знала, где искать?

В коробочку такого размера и формы можно было бы положить нож для писем – или, например, перо; она сделана из жесткого картона, который с годами состарился и стал мягким. Кончики моих пальцев становятся серыми – они покрыты слоем мягкой пыли. Сама коробочка – выцветшего оттенка рыжей календулы, а по вертикали красным напечатаны китайские иероглифы:

#

Единственный иероглиф, который я знаю, – из двух штрихов. *Ren*. Он означает *люди*.

Крышка снимается довольно легко – как верхушка коробки из-под обуви; она сдвигается шурша, будто бы предупреждая о своем содержимом: длинных палочках, пахнущих дымом, разрушением и горелыми спичками. Аромат напоминает беспорядочную смесь цветов, вихрем погружающихся в темноту.

Палочки с благовониями. Почти такие же, как те, что лежат над бабушкиным и дедушкиным домашним алтарем, – только совершенно черные. Я осторожно беру одну из них, с трудом подавляя в себе острое желание ее поджечь. Между большим и указательным пальцами вдруг появляется необычное тепло, будто палочка нагрелась на солнце.

И тут – шепот. Самый далекий, самый тихий из голосов. Он доносится прямо из палочки. Я подношу ее близко к уху...

Стук в дверь заставляет меня подскочить на месте.

– Минутку – *deng yixia!* – кричу я, впопыхах заталкиваю коробочку и перо в ящик и кидаюсь обратно в постель; в тот же самый момент дверь в комнату со скрипом приоткрывается.

Уайпо, смущаясь, смотрит на меня через щель.

– Привет, – говорю я; в ушах оглушительно стучит сердце. Не знаю, откуда взялось ощущение, что я должна что-то от нее прятать, и это странное волнение.

Бабушка подзывает меня к себе и говорит:

– *Lai chi zaosan.*

Zaosan. Завтрак. Точно.

Меня пронзает чувство вины: неужели все это время они ждали меня?

Ее взгляд падает куда-то рядом с постелью. Она быст-ро подходит к тумбочке и берет мамину цепочку, поворачивая кулон с цикадой так, чтобы он попал в струящуюся из-под штор полоску солнечного света. Лучи освещают камешек нефрита. Она указывает на меня, а затем, улыбаясь, что-то произносит.

Все, что мне удастся уловить, это *ni. Ты*. Прежде чем я успеваю хотя бы попытаться понять смысл сказанного, она наклоняется ко мне, перекладывает мои волосы на одну сторону и надевает цепочку мне на шею.

Тяжесть цикады оседает у меня на груди. Уайпо берет меня за руку и вытягивает из кровати.

Обеденный стол ломится от еды. Я узнаю жаренные во фритюре масляно-блестящие палочки из теста; *youtiao* – любимое мамино лакомство, – вспоминаю я с острой болью; и прямоугольную лепешку *shaobing*. Там же множество блюд, которые я никогда не видела. Приготовленные на пару прямоугольные пирожные, сбрызнутые темным соусом. Миска с кусочками непонятного овоща – бесцветного и губчатого. Порезанный блинчик с блестящей белой кожей, свернутый рулетом. Странный коричневатый суп.

В горле застревают ком. Мы нечасто завтракали в тайваньском стиле – всего пару раз в год, когда мама вдруг решала съездить в магазин азиатских продуктов; и потому эти редкие дни каждый раз были как праздник. Мы с Акселем – и папа тоже, если оказывался дома – набивали животы так, что приходилось пропускать обед.

Я задумалась о тех днях, когда она приходила домой с продуктами для подобного завтрака. Скучала ли она в эти моменты по Тайваню? Скучала ли по своей семье? Ей почти удалось убедить меня в том, что до родителей ей больше нет никакого дела.

Уайгон уже сидит; рядом с его локтем к столу прислонена деревянная трость. Он берет одну из посыпанных кунжутом лепешек, протыкает ее пальцем и разделяет на два слоя – словно раскрывает крылья бабочки. Внутри он кладет *cruller* – китайский хворост – и макает все это в соевое молоко – точно так, как ела мама.

Кулон оттягивает шею; пальцами я ощупываю все выпуклости и впадинки цикады. Я пытаюсь представить, как бабушка с дедушкой – на тридцать лет моложе – сидят за точно таким же круглым столом и улыбаются – только не мне, а моей маме.

17

В тяжелой тишине ночи я наконец остаюсь в комнате одна.

Весь этот день я плавилась на солнце, по пятам следуя за Уайпо по уличному рынку, где в ярких пластиковых ведрах на кучках льда лежали огромные рыбины; на металлических тележках горками возвышались колючие ананасы; а какая-то женщина возила свою собаку в детской коляске в поисках общипанной чернокожей курицы. В конце Уайпо купила нам по стакану баббл-ти⁵, и мы уселись на скамейке в парке и принялись наблюдать за людьми, потягивая через толстые трубочки шарики тапиоки.

Как же тут все не похоже на наши парки с широкими деревьями и их ниспадающими неряшливыми коричневыми бородами: цветы в форме звезд, пахнущие кумкватом, длинные листья, развевающиеся, как флаги, и хлопающие своими ржаво-темными изнанками.

Мы смотрели, как дети наперегонки бегают по тропинке до маленькой площадки. В небе, словно конфетти, пестрели воздушные змеи: бабочка, феникс, крылатая обезьяна.

Акселю бы этот парк понравился. Он вытащил бы свою акварель и не сдвинулся с места, не закончив как минимум два рисунка. А потом отправился бы домой и там превратил бы смелые мазки из изображений в теплые, сочные звуки. Воздушных змеев он запечатлел бы в арпеджио. Дети обернулись бы маленькими богами литавры, блуждающими по Земле в ритме семь восьмых. Для Акселя акварели – что-то вроде заметок. Он использует цвета в качестве направляющей силы для своих композиций; для создания того, что он называет «опера электроника».

Даже когда мы с Уайпо шли домой, даже когда обедали с Уайгоном, я не могла перестать думать о том, что сделал и сказал бы Аксель, будь он здесь.

Я не говорила ему, что еду на Тайвань. В моем воображении он стоит на крыльце, звонит в дверь, громко стучит. Потом отступает, словно отсчитывая ритм – так аккомпаниатор за фортепиано ожидает момента, когда должен снова вступить.

Я моргаю, и все исчезает: воспоминания о парке, воображаемые акварельные мазки, несчастное лицо Акселя.

Уже поздно, но я почему-то не могу уснуть. Дедушка с бабушкой давно легли; шорох и копошение в их комнате наконец стихли.

Интересно, где сейчас папа? Заселился в какую-нибудь дорогую гостиницу, оплатив ее своими многочисленными баллами? Он хотя бы жалеет, что уехал? Во мне до сих пор кипит ярость, оттеняя все темным цветом жженой умбры.

Разумнее всего было бы сейчас попытаться уснуть, приучить тело к новому режиму. Я должна быть максимально энергичной, если действительно хочу найти птицу. Я вымотана до предела, а жара многократно ухудшает ситуацию – такое ощущение, что мои конечности распухли и их пригвоздило к постели.

И тем не менее когда я закрываю глаза и пытаюсь расслабиться, то все равно не могу отключить сознание. В памяти мелькают образы, вспыхивая снова и снова. Я вспоминаю, как по небу проплывало красное пернатое существо. Вспоминаю коробку с вещами, которую бабушка с дедушкой якобы сожгли. Серое тело, уложенное в гробу, словно кукла.

А футляр с благовониями? Я никогда не видела настолько черные палочки.

Снова слышу шепот голосов, слова, которые не могу разобрать. *Шуриание* полирующихся друг о друга слогов.

⁵ Баббл-ти (*англ.* bubble tea, «чай с пузырьками») – распространенный на Тайване напиток на основе чая или молока с добавлением мягких шариков тапиоки, наполненных фруктовым соком.

Холодный свет, как лужа, просачивается в широкий проем между дверью и линолеумом. Он струится из окна, завешенного тонкой занавеской, и омывает стены призрачным сиянием. Сначала мне кажется, что это висящая над улицей луна, но затем я понимаю: это фонари. Глаза успокаиваются, повсюду разливаются темнота. Свечения хватает ровно на то, чтобы разглядеть очертания предметов.

Мои босые ноги выскользывают из низкой кровати и нащупывают пол, а затем ведут меня к комоду. Наверное, я ожидала, что голоса станут громче, – но они резко прерываются, едва я касаюсь ручки ящика. Я тяну его на себя – медленно, осторожно. Это маленькая квартира с тонкими стенами: слышен каждый звук.

Вот перо. Вот палочки. Но в этот раз здесь еще и старый коробок спичек. Откуда они взялись? Дрожь пробегает по позвоночнику, повторяя его изгибы. Не в силах сдержаться, я оглядываюсь. Свет за окном вспыхивает и тускнеет – словно отвечая на вопрос, который я задала, сама того не подозревая.

Я убеждена, что все это – от птицы: перо можно считать чем-то вроде ее подписи, а значит, именно она прислала мне все эти предметы, и я могу ими пользоваться.

Вытащить спичку, чиркнуть, оживляя огонь, прикоснуться к кончику темной, как смола, палочки.

Кончик схватывает пламя и загорается, словно светлячок. Из него вырастает чернильно-черный дым, прорезающий воздух полосами.

Ни голосов. Ничего. Не знаю, что я ожидала.

Но внезапно темные линии начинают быстро разрастаться, образуя ленты; они закручиваются снова и снова, напоминая зарождающуюся грозу. Я ахаю, и дым врывается в мое горло, а затем еще глубже – в легкие. Я кашляю, отплевываюсь и тру глаза, пытаюсь избавиться от сильного жжения.

Дым заполняет комнату до тех пор, пока не остается ничего, кроме черноты.

18

ДЫМ И ВОСПОМИНАНИЯ

Дым постепенно тает, темнота рассеивается, и я понимаю, что стою уже в совершенно другой комнате. В комнате, которую знаю слишком хорошо, в доме, где прожила всю свою жизнь.

Грушево-зеленые стены. Арка над проходом.

Наша гостиная.

Мама сидит за фортепиано; у нее из-под пальцев вылетают звуки сонаты Бетховена, страницы нот сменяют одна другую с невероятной скоростью.

Я смотрю на свою мать.

Моя мать моя мать моя мать. Кажется, в любую секунду у меня могут треснуть ребра. – Мама.

Фортепиано заглушает мой голос.

Ее руки порхают над клавишами, выдавая широкие арпеджио; торс покачивается в такт темным волнам музыки. Я помню это произведение: «Буря»⁶.

В воздухе висит едва уловимый сладковатый запах – мамин кокосовый шампунь; единственный шампунь, которым она пользовалась, он был также ее единственным парфюмом.

Цвета в комнате приглушены, а в музыке и в ее вращающемся ритме есть что-то медитативное. Я стою далеко от пианино, но почти физически ощущаю под пальцами гладкие клавиши.

– *Ну хватит,* – хихикая, шепчет кто-то позади меня. Я разворачиваюсь на месте: на нашем диване сидит темноволосая девушка – это совершенно точно я, только младше; она во весь рот улыбается Акселю – то есть его менее высокой и более неуклюжей версии – и толкает его локтем. Лица немного размыты, но эти двое – точно мы. Я стою прямо перед ними, но они меня не видят. Как же это странно!

– Что? – спрашивает Аксель; его лицо – словно чистый холст незамутненной невинности.

Юная-я наигранно закатывает глаза, но при этом вся сияет. Поняла ли она уже, что чувствует к нему?

Сохранившийся каким-то невероятным образом отрывок из прошлого. Я совсем этого не помню... И вдруг меня осеняет, что эта сцена – воспоминание мамы. Вот почему я ощущаю ее аромат.

Прядь у меня в волосах покрашена фиолетовым, значит, юной-Ли здесь около двенадцати, у нее в жизни еще совсем мало забот. Они с Акселем прижимают к коленям скетчбуки и толкаются лодыжками.

Сверху доносится оглушительный грохот – быстрые шаги вниз по лестнице, – а затем появляется папа; он весь сияет. Я уже забыла этот звук – радостный топот. Когда мы превратились в людей, которые передвигаются тихо, будто крадучись?

– Чем так *сногшибательно* пахнет? – произносит папа из воспоминания.

Раздается звон кухонного таймера, и цвета меняются, словно просыпаясь. Мама вполоборота разворачивается на фортепианной банкетке и вскакивает на ноги. Она чмокает папу в нос и вальсирующей походкой устремляется мимо него на кухню. Он поворачивается и зачарованно за ней наблюдает.

Когда-то мы были почти идеальной семьей. Вот бы отмотать все назад, вернуться в те годы и жить там всегда.

⁶ Речь идет о «Сонате для фортепиано № 17» Людвиг ван Бетховена.

Изображение еще сильнее размывается, и теперь, когда мамы нет поблизости, запах кокосового шампуня ослабевает. Я захожу на кухню, и очертания становятся четче, а цвета – ярче. Ее лицо сияет, и, вынимая из духовки противень, она едва заметно улыбается.

– Хватит уже секретничать! – кричит Аксель из соседней комнаты. – Скажите нам наконец, что это такое!

– *Danhuang su*, – отвечает отец.

Я следую за мамой в гостиную; она вытянула руку вперед так, будто прокладывает нам путь тарелкой. На ней выложена дюжина идеально круглых булочек, золотистых и блестяще-ламинированных, украшенных кунжутом.

Такой я хочу помнить маму. Ее радость. Ее сияние, заполняющее комнату. Ее игривый нрав, любовь к вкусной еде, яркий и залиvistый смех.

Я делаю шаг вперед, отчаянно желая прикоснуться к ней, но у нее на плече моя рука растворяется, словно призрак здесь – я.

Родители едят одну булочку на двоих, пальцами разрывая пышное тесто, и ловят языками пасту из бобов. Мама отдает папе целый соленый желток из серединки – его любимую часть.

Мои ноги словно проросли в ковер этого воспоминания, я стою и наблюдаю – пока наконец ребра не начинают сжиматься, измельчая мне сердце, и не распространять повсюду жар моего исчезновения. Горе выливается из меня темной сепией.

Цвета затухают. Тьма поглотила свет.

Мерцание. Вспышка.

Снова Ли из прошлого – на этот раз еще младше, даже без цветных прядей в волосах. Она присела у края темного озера. К ней подходит отец, теребя в руках букетик острой зеленой осоки. Оттенки поменялись, словно кто-то повернул колесико настроек, чтобы сделать их немного теплее. Запах тоже совершенно иной, похожий на кондиционер для белья – так всегда пахнет мой отец.

Это папино воспоминание.

– Итак, секрет вот в чем. Берешь одну. – Он кладет длинные травинки на ровную поверхность и выбирает самую крупную. – Теперь натяни ее между большими пальцами, а пальцы сожми вместе.

Маленькая Ли складывает руки и показывает ему. Ничего из этого я тоже не помню.

– Ага, правильно. Сожми чуть сильнее. А теперь – вот так...

Папа подносит большие пальцы к лицу. Он надувает щеки и складывает губы, а потом сильно дует куда-то под костяшки пальцев, выпуская пронзительный свист, который несется через поверхность воды.

Я наблюдаю, как Ли-из-папиного-воспоминания пытается повторить за ним и дует себе в большие пальцы. Но ее травинка лишь болтается и скрипит.

– Я так тоже не могу, – говорит мама; она стоит в нескольких шагах от нас, балансируя на камне, и наблюдает – у нее тоже в руках травинка.

– У Ли почти получилось. Попробуй еще раз, малышка.

Папа отходит от края озера, чтобы помочь маме.

Маленькая Ли продолжает дуть. Она поправляет травинку. Затем берет новую и сжимает большие пальцы еще сильнее. Наконец вырывается тонкий и громкий звук – нечто среднее между музыкой казу⁷ и кряканьем утки.

Она оглядывается.

⁷ Казу – американский народный музыкальный инструмент; представляет собой небольшой цилиндр, сужающийся к концу, в середину которого сверху вставлена металлическая пробка с мембраной из папиросной бумаги.

На фоне угасающего неба темнеет мамин силуэт. Руками она обвивает папу за талию, а щеку положила ему на плечо. Они покачиваются под мелодию, которая слышна только им двоим.

Вспышка. Цвета затухают.

Появляется комната, и я снова сижу на кровати в квартире бабушки и дедушки в Тайване. Воспоминание закончилось.

Я до боли сжимаю большой и указательный пальцы. Смотрю вниз: палочка с благовониями исчезла. Включаю лампу, чтобы убедиться: никаких следов, никакого пепла. Она просто исчезла.

Раскрыть ладони, взглянуть на дрожащие руки.

Так я сижу, дрожа, до самого рассвета.

19

Чья же это вина? Все ведь задаются этим вопросом. Никто никогда не произнесет его вслух. Такие вопросы люди называют *некорректными*. Ответ на них один: «В этом никто не виноват». Но правда ли это? Ведь искать, на кого бы возложить вину, – в самой человеческой природе. Мы всегда держим пальцы наготове, чтобы указать на козла отпущения, но часто делаем это так, будто крутимся вокруг своей оси с завязанными глазами.

Что может заставить человека захотеть умереть?

У нее была я. У нее был папа. У нее была лучшая по-друга, Тина. Третью всех детей нашего района брали у нее уроки игры на фортепьяно.

Все, кто знал ее, сказали бы, что она выглядела самой счастливой, самой живой. Когда она смеялась, ее лицо расцветало, и у каждого, кто находился рядом с ней, становилось тепло внутри.

В те последние несколько месяцев ее смех звучал редко. Я это заметила, правда заметила, но свалила все на ее плохое настроение – у нее всегда была привычка резко перескакивать из одной крайности в другую. Слишком быстро, слишком легко я нашла этому оправдание.

Моя ли это вина? Если бы я...

Если бы папа...

Если бы мама...

Но – что?

20

Даже ярким утром воздух тяжелый и давящий; он прилипает к коже, выжимая из нее пот. Я поворачиваюсь к бабушке.

– *Niao*.

Птица. Не знаю, что еще сказать. Как объяснить ей, что нам нужно найти мою мать?

Уайпо кивает, но я не уверена, что она меня поняла.

Мы выходим из лабиринта переулков и оказываемся в лавке с продуктами для завтрака; там женщина готовит блюдо, которое я никогда раньше не видела. Это *dan bing*. Она ловко распределяет жидкое тесто в форме идеального плоского круга, сверху разбивает яйцо и посыпает все это зеленым луком. Я не особенно голодна – отчасти, наверное, потому, что не спала ночью и теперь чувствую вялость во всем теле, но все же, едва ощутив аромат, я начинаю буквально пускать слюнки.

В магазине также продают *fantuan* – это блюдо я знаю: рисовые пирожки с начинкой из сладкой сушеной свинины *song*, красновато-коричневые и пушистые, как хлопок. В начальной школе я как-то принесла *fantuan* на обед. Когда мои одноклассники увидели начинку *rou-song*, то принялись дразнить меня, приговаривая, что я ем пряжу и потом буду кашлять волосатыми шариками, как кошка.

Женщина вытирает пальцы о фартук и заворачивает наш заказ. Ее взгляд скользит по мне, на миг задерживаясь на лице, – решительный, как прикосновение.

– *Hunxie*, – говорит она бабушке, которая отсчитывает на своей нежно-морщинистой ладони монеты, раскладывая их по кругу. Уайпо выдает вереницу слов – но так быстро, что я не могу понять ни одного. Продавщица улыбается мне, говорит что-то о том, что я американка, что я красивая. Несколько посетителей за соседними столиками поворачиваются и принимают на меня взгляд. Под их взглядами кожу начинает покалывать.

Мы с Уайпо едим на ходу. Стаканы с охлажденным соевым молоком потеют у нас в руках, конденсат собирается в капли, капли – в струйки, и вода стекает по моим пальцам от одного сустава к суставу.

– *Shenme shi... hunxie?* – спрашиваю я. Ее глаза блестят. Ей нравится, когда я пытаюсь говорить на мандарине.

– *Hunxie*, – повторяет она и принимается объяснять этот термин.

Наконец я понимаю – это значит *межрасовый*. А затем узнаю и отдельные части слова, будто внезапно начинаю различать очертания облаков: *hun* – *смешанный*, *xie* – *кровь*.

Дома, в Америке, люди иногда говорят, что у меня экзотическая внешность и что я похожа на иностранку. Иногда они даже пытаются выдать это за комплимент. Но вряд ли они понимают, как это звучит на самом деле: будто я какое-то диковинное животное в зоопарке.

Однажды двое ребят в школе спросили меня:

– Ты кто?

Я лишь успела моргнуть, когда один из них добавил:

– Ну, в смысле ты наполовину латиноамериканка или типа того?

Я сказала, что моя мать из Тайваня, и второй парень толкнул первого в плечо.

– Это где-то в Азии. Так что ты должен мне пятерку.

Мне они больше ничего не сказали – лишь развернулись и пошли прочь, продолжив перекидываться смешками.

Конечно, такое случается не каждый день, но достаточно, чтобы не давать мне забыть: для людей я другая.

Вот и сейчас: меня так прямо и назвали – *hinxie*, полукровка, – будто прикрепили на лоб распечатанный ярлык... С этим ощущением внутри живота что-то закручивается – что-то темное и сине-лиловое.

Мы вернулись в квартиру: Уайгон расположился на диване, уложив подушки себе под спину и локти. Он, словно замороженный, смотрит по телевизору музыкальный клип с выключенным звуком. Дюжина азиатских мужчин танцуют в шестиугольном туннеле с мигающими огнями. Экран взрывается дождем из перьев.

Уайпо вручает ему *dan bing* с соевым молоком и подходит к домашнему алтарю. Ее пальцы, обычно слегка трясущиеся, теперь держат спичку неожиданно уверенно. Пламя следует за ее рукой, как хвост кометы, и, прикоснувшись к ароматической палочке, зажигается яркой точкой. По комнате разносится древесный запах. Я наблюдаю за ленивым завитком дыма и думаю о коробочке с черными палочками в моей комнате. Но ведь сейчас никаких шепчущих голосов не слышно. Неужели мне все показалось?

Рядом с чашей для благовоний стоит широкая керамическая ваза, расписанная синими драконами, – в ее глянцевой отделке отражаются то свет, то тень. Серый дым выписывает перед драконами пируэты. В какой-то момент кажется, будто один из них повернул голову и смотрит на меня сквозь дымку: зубы оголены, когти наружу. Мгновение – и дым улетучивается. Дракон снова становится двухмерным и неподвижным и лишь посверкивает в направлении фотографии без рамки, прислоненной к чаше с фруктами.

Я не замечала раньше эту фотографию. Она не больше моей ладони, черно-белая, потертая и вся в отпечатках пальцев. Две маленькие девочки, выпрямившись, сидят на стульях с высокими спинками. Выцветшая копия фотографии, которую я нашла в коробке – и о которой спрашивала папу.

– Уайпо... – начинаю я. Но прежде, чем мне удастся подобрать слова, чтобы спросить ее о девочках, квартиру наполняет громкий звук: *чирп-чирп-чирп-чирп-чирп-чирп-чирп*. Сначала я думаю, что это живая птица, но тут слышу снова: *чирп-чирп-чирп-чирп-чирп-чирп-чирп* – слишком ритмично, слишком размеренно. Мне знакомо это ясное и «плоское» звучание аудиосэмплов – я часто наблюдала за Акселем, когда он работал над своими композициями; звук, который я слышала теперь, как раз напоминал чирикание птицы, записанное на пленку и поставленное на повтор.

Уайпо проглатывает последний кусочек своего *fantuan* и бросается к входной двери.

На пороге – почтальон; в руках у него посылка.

Бабушка моментально заводит с ним резвый и энергичный разговор. Ее речь звучит совсем иначе: гласные расширились, согласные стали быстрее и жестче, слоги шелкают и крутятся туда-сюда. Она переключилась с мандарина на тайваньский. Теперь я вовсе ничего не понимаю.

Почтальон уходит, но, стоит Уайпо отойти в сторону, в квартире появляется бледная молодая женщина в блузке с узором из огромных малиновых и зеленых роз. Она чуть старше меня – может, студентка, а может, еще старше. Я ерзаю в кресле, съеживаясь в своих джинсах и просторной футболке. Я взяла лишь несколько вещей помимо тех, которые обычно ношу дома – и которые в любой момент могу испачкать углем или красками.

Уайпо продолжает радостно стрекотать – только теперь она указывает на меня и произносит мое имя. Она вскрывает коробку кухонным ножом и начинает вытаскивать пакетики с закусками, сухофрукты, жестяную коробку чая. На мгновение она переключается на мандарин и бросает какую-то фразу в мою сторону. «Твой отец» – единственное, что мне удается уловить. Когда я качаю головой, она пожимает плечами и возвращается к посылке.

Женщина неуверенно мне улыбается.

– Очень рада познакомиться, Ли.

Когда я слышу ее, меня словно обдает ледяной водой. Она говорит по-английски без всякого акцента.

– Меня зовут Фэн, но у меня есть и английское имя, если так проще...

– Привет, Фэн, – торопливо отвечаю я, раздражаясь: она думает, что я не в состоянии запомнить односложное имя. – Приятно познакомиться.

– Попо сказала, ты немного знаешь мандарин – может, ты предпочитаешь говорить на нем? – Ее руки трепещут, словно мотыльки, нервные и бледные.

– Английский подойдет.

Произнося эти слова, я уже чувствую, как плечи стягивает от какой-то неадекватности происходящего.

– Отлично! – улыбается Фэн. – Мне английский тоже подходит. Можно сказать, новый навык. Ой, у тебя зеленая прядь в волосах! Так модно в Америке?

– Э-э, это везде модно.

– Хм, как интересно. Все, наверное, думают, что ты поп-звезда.

Мне до смерти хочется сменить тему.

– А откуда ты знаешь моих бабушку с дедушкой?

– Ну... – Она выглядит смущенной, неуверенной. – Мы знакомы уже давно. Я старый друг семьи.

Уайпо протягивает мне клочок бумаги из коробки – розовый листок из набора канцелярских принадлежностей «Хелло Китти» с двумя строчками китайских слов, нацарапанными на пиньине; это система романизации, которой научил меня папа, когда я была маленькая. Поскольку все буквы – из английского алфавита, я более или менее сносно могу произнести написанные там слова, хотя и не имею ни малейшего понятия, что они означают.

– Что это? – спрашиваю я.

– Мой адрес – на всякий случай. Но, скорее всего, тебе он не понадобится.

Я киваю.

– Ты здесь живешь?

– Временно. Я уже давно не бывала дома.

И тогда она обращает мое внимание на жесткий белый подарочный пакет, который Уайпо только что достала из коробки. На его передней стороне по диагонали красным каллиграфическим шрифтом напечатаны китайские иероглифы.

– Здесь свежая выпечка с разными начинками: красной фасолью, пастой из семян лотоса, кунжута. Я хотела, чтобы ты попробовала все мои самые любимые. Они просто *объедение*.

Уайгон уже исследует содержимое пакета. Он запускает голову внутрь и вдыхает аромат завернутой в вощеную бумагу булочки.

Бабушка снова говорит на тайваньском. Она подходит к Фэн; я понимаю, что они очень близки.

В блестящем стекле фоторамки я вижу отражение нас троих. Фэн выглядит так, будто внучкой должна быть *она* – у нее гладкий черный конский хвост, темные глаза, аккуратные черты лица. Не вписываюсь в картину здесь я. Тонкие волосы – коричневые, да еще и с цветной прядью; совсем не такие густые и блестящие. Глаза – слишком светлые.

Фэн кивает бабушке и с улыбкой поворачивается ко мне.

– В коробке еще сим-карта. У тебя есть смартфон? Эта карточка предоставляет доступ в интернет. Я подумала, тебе может пригодиться.

С помощью разогнутой скрепки Фэн помогает мне вытащить американскую сим-карту и вставить новую.

– Готово, – говорит она.

– Спасибо.

Я думаю о письме Аксея, которое до сих пор не прочитала.

Фэн сияет.

– Если хочешь посмотреть что-то конкретное – просто скажи. Я знаю, тебе понадобится помощь, и сделаю все, что в моих силах.

Я пытаюсь улыбнуться, но лицо кажется неживым и неловким.

– Такой шанс повидаться с родственниками и вместе провести время выпадает нечасто! – Она переплетает и снова распускает пальцы. – Я сделаю все для того, чтобы ты отлично провела время.

– Спасибо, – повторяю я.

Фэн широко улыбается бабушке и дедушке. Они перекидываются парой фраз, но слова пролетают мимо меня так быстро, что я уже отчаиваюсь понять: тайваньский это язык или мандарин.

Уайпо шутит – по крайней мере, такой вывод я делаю, слыша, как хохочут Уайгон и Фэн. Холодная оловянная зависть обволакивает желудок. Уайпо знает меня недостаточно хорошо, чтобы шутить. Она даже не надеется, что я *пойму* ее шутку.

Фэн запускает ноги в туфли и поворачивается, чтобы помахать мне, – ее тонкие пальцы трепещут взад-вперед; как только она выходит за дверь, мои плечи, застывшие у ушей, наконец с облегчением опускаются, напряжение рассеивается, груз спадает.

Уайпо отправляется на кухню, а Уайгон возвращается на диван к просмотру музыкальных клипов.

Я погружаюсь в кресло рядом с обеденным столом, где сильно пахнет растительным маслом и сахаром. Там же стоит бумажный пакет с выпечкой и штрихообразными словами, напечатанными на передней стороне. Я провожу пальцами по каждой черточке, но все равно не узнаю ни одной буквы. Со слабой надеждой, что на обратной стороне будет надпись на английском, я разворачиваю пакет.

Но надписи там нет. Вместо этого я вижу логотип: красный круг с алой птицей внутри.

21

Я не могу уснуть, поэтому открываю почту на телефоне. Сообщение от папы – я закрываю глаза. Потом прочитаю.

Дальше – то, что отправил Аксель. Никаких колебаний. Указательным пальцем я уверенно нажимаю на письмо.

ОТ: axeldereckmoreno@gmail.com

КОМУ: leighinsandalwoodred@gmail.com

ТЕМА: (без темы)

4 минуты 47 секунд

Ты дышишь своими рисунками, будто от них зависит твоя жизнь. А моя жизнь от этого не зависит, но, наверное, это просто мой способ обрабатывать информацию... мой скетчбук – все равно что дневник. Когда я перерабатываю его в музыку... так я анализирую и обдумываю написанное.

Это последний отрывок из сборника «Сад Локхарт».

Называется «Прощай».

Прощай.

Я перечитываю письмо, и последнее слово будто выталкивает мое сердце с привычного места.

Кто вообще пишет такие письма? Что, черт возьми, все это значит?

Прощай. Подтверждение того, что я все разрушила, ударяет в меня флуоресцентными волнами. Какой же я была душой, когда вообразила, что один наш поцелуй уничтожит все его чувства к Лианн.

Я вспоминаю, как сильно он разозлился на похоронах. Я знаю, он ненарочно – в такой день он хотел бы этого меньше всего.

Но я сама виновата, нарушила наше правило: никакого вранья.

Я представляю Акселя на его твидовом диване, где мы поцеловались, с толстым скетчбуком и акварельными карандашами. Представляю, как переносюсь туда на волшебном ковровом самолете, со свистом влетаю в подвал и врезаюсь в пол, а с губ уже готовы сорваться извинения.

В конце письма – ссылка.

Она ведет на закрытую страницу, куда Аксель загрузил трек «Прощай: адажио цвета садовой зелени». Последняя композиция. Я знаю, что значит это название.

На обложку альбома он поместил фото сада Локхарт.

Мой желудок сжимается, а по телу разливается красная охра ностальгии. Я наблюдала, как он делает этот снимок на свой телефон, в день, который помню слишком хорошо.

Я не могу не задаться вопросом: слушала ли этот трек Лианн? Спрашивала ли Акселя, чем так примечателен сад Локхарт?

Знает ли она, что произошло между нами?

Большой палец давит на кнопку *play*. Песня начинается с низкого и глубокого гудения басов и линий легато, переходящих в злое крещендо. Затем мягкими аккордами вступает пианино, вскоре присоединяется виолончель.

На поверхность сознания, как маленькие пузырьки, поднимаются обрывки прошлого.

22

Лето перед девятым классом

Я навсегда запомню свой четырнадцатый день рождения, потому что именно тогда впервые поняла, что с моей матерью, возможно, действительно что-то не так. Хоть ей и небезразличен был тот день, этого оказалось недостаточно, чтобы разогнать сгустившиеся тучи. В их с папой спальне, в полумраке, с выключенным светом и опущенными шторами, она чувствовала себя все хуже. Ее тело молчало, но темнота внутри нее могла заглушить любой звук. Наш дом съезжился до размера кукольного, и стены обступили меня вплотную, так что я не могла ни дышать, ни говорить – а только слышать ее отчаяние.

Я уехала кататься на велосипедах с Акселем. Мы специально пытались заблудиться, чтобы я вспомнила другие свои страхи. На каждом перекрестке, вместо того чтобы поехать знакомым путем, мы поворачивали в противоположную сторону.

Мы проехали через леса и старые фермы, через поля и автомобильные парковки. Мы мчались к самому краю неба – мы явственно видели, где оно касалось нашей половины земли, – но в итоге сдались. Горизонт все время обгонял нас. Заметив растущие в ряд деревья, которые ни один из нас прежде не встречал, мы резко остановились. Деревья, казалось, растянулись вперед до бесконечности.

– Мы что, заблудились? – спросила я.

Аксель не ответил. Он спрыгнул с велосипеда и рухнул в траву. Над ним зигзагом пролетел толстый шмель.

– С этого ракурса все выглядит по-другому, – сказал он.

Я легла рядом. Белые линии в небе напоминали полоски пены на беспокойном море. Мимо проплывали птицы. Кто-то крошечный жужжал у моего уха, а потом снова затих.

– Мы не заблудились, – наконец заговорил Аксель, – а просто едем в другом направлении.

Мы оказались в яблоневом саду – к тому времени настроение у меня улучшилось. Воздух был густым, липким и слегка сладковатым. Деревья покачивались от прикосновения ветра. Я еще не знала, насколько сильно мне стоит беспокоиться о маме, поэтому позволила себе отвлечься и отпраздновать день рождения.

– Вот вкусное, – сказала я с полным ртом, держа наполовину съеденное яблоко и сидя на стыке двух толстых ветвей. Ветер потрепал прядь моих волос – тогда она была выкрашена в электрический синий. – Что это, говоришь, за сорт?

– Кажется, ханикрисп! – крикнул Аксель с противоположного конца сада. Я наклонилась, чтобы посмотреть на него сквозь ветви. Он сидел на другом дереве, его сиреневая рубашка в клетку мелькала в просветах между листьями и фруктами.

– Похоже на название хлопьев для завтрака, – сказала я.

– Если не остановишься, тебе будет плохо, – ответил он.

– Не-а. Я бы еще сто таких съела.

Извиваясь, он выбрался между двух замысловато загнутых ветвей и, довольно пыхтя, расположился на новом участке яблони, прямо у ствола. Его и без того загорелая кожа стала совсем темной от летнего солнца.

– Почему люди перестали лазить по деревьям? Это ведь просто божественно. Здесь я чувствую себя по-настоящему живым.

– Обожаю, – сообщила я, болтая взад-вперед ногой. – Это действительно *божественно*. Отлично сказано. Божественно, как цвет желтого золотарника.

– Нужно собрать яблок для твоей мамы, – предложил Аксель.

Мама. Эти два слога всколыхнули во мне волну грусти и тревоги. Теперь я могла думать только о ней, о том, как она выглядела утром, полулежа за кухонным столом, такая маленькая и съежившаяся, словно ее внутренняя темнота заняла столько пространства в доме, что не оставила места для ее тела.

Я невольно разозлилась на Акселя за то, что он упомянул маму. Если бы не ее непонятная мрачность, этот день был бы почти идеальным.

– Что? – спросил он. – Думаешь, ей не понравится?

Я закатила глаза.

– Тебе обязательно нужно быть таким подлизой? Она же не *твоя* мама.

Он опешил. Даже я удивилась жесткости собственных слов, но брать их назад или пытаться отшутиться, чтобы сгладить ситуацию, было уже поздно.

Просто Аксель всегда думает о других. Ну и что с того, если он пытался угодить? Его собственная мать ушла из семьи, когда ему было семь. Когда мы подружились, моя мама стала для него кем-то вроде суррогатного родителя.

Мои эмоции достигли пика и так же быстро улеглись, а потом мне стало стыдно. Он всего лишь хотел порадовать мою маму, а я сижу и ною, что в мой день рождения у нее плохое настроение.

Я взяла свое наполовину съеденное яблоко и подбросила его в небо. Выписав в воздухе высокую арку, оно с шумом приземлилось в ветвях другого дерева.

Мы заплатили за яблоки – не считая тех, что уже были у нас в желудках, – и забили ими рюкзаки; затем отстегнули велосипеды, бок о бок стоявшие у забора между дорогой и садом. Мой велосипед навалился на его, и они оба застыли, связанные объятием сверхпрочных замков, которые мы просунули через колеса и рамы.

Мне показалось (как бы грустно и нелепо это ни звучало), что наши велосипеды выглядят романтично. Они прикасались друг к другу, толкали друг друга без всякого стеснения, без всякой задней мысли. Они разделили столько приключений... У них была своя история. Они были созданы друг для друга.

Видимо, я начала сходить с ума. Черт возьми, я рассуждала о *велосипедах* как о живых существах, о предметах из металла и резины, без сердца или мозга.

Дорога была пустой и ровной. Солнце угасало; его зарево врезалось в горизонт под прямым углом, и мы отбрасывали длинные, туманные тени, которые повсюду следовали за нами. У меня на велосипеде стояла слишком высокая скорость для заезда в гору, но я стиснула зубы и решила не переключать. Ноги работали, с усилием давя на педали, икры горели. Я не сводила глаз с задней части шлема Акселя.

– Какой цвет? – крикнула я ему.

Он не ответил, но набрал скорость. Я принялась работать педалями еще усерднее, чтобы угнаться за ним.

– *Аксель.* – Я решила попробовать еще раз. – Какой цвет?

Холм выровнялся, и он наверняка переключился на более высокую скорость. Я видела, как он работает ногами, видела, как его велосипед с силой дернулся вперед и покатился, словно подхваченный волной. Ускорившись, он до-ехал до конца дороги и повернул направо. Я поспешила за ним по тропинке к парку. Вдруг Аксель резко затормозил и спрыгнул с велосипеда, бросив его на землю и даже не вытащив подножку.

– Что ты делаешь? – Я остановилась рядом и, тяжело дыша, застыла над седлом.

– Жженный оранжевый, – заявил он. – Цвет злости на тебя.

Иногда, сообщая очевидное, Аксель полностью оправдывал существование нашей цветовой системы.

– Прости, – незамедлительно извинилась я. Мне было противно оттого, что я вела себя как последняя сволочь, что у него было полное право на меня злиться. – Правда, прости меня.

Он скинул лямку рюкзака и перебросил его вперед. Я увидела, что он вынимает одеяло и контейнер.

– Ладно, твой день рождения еще не закончился, – сказал он, все еще немного суровый, и я поняла, что почти прощена. – Это вторая часть.

– Что... это?

– Сэндвичи, – ответил он, передавая мне контейнер. – Ломтики груши с сыром бри. Твои любимые.

– Что?

– У нас пикник, – заявил он тоном, не терпящим возражений. – Ты жаловалась, что мы слишком взрослые для пикников. Так вот – не слишком.

Вот поэтому я была так рада, что у меня есть Аксель: ну какой еще пятнадцатилетний парень спланирует неожиданный пикник для лучшего друга? Горло сжалось. Почему он так добр ко мне после всего, что я наговорила?

– Груша с бри – это *твои* любимые. Я люблю грушу с бри и арахисовым маслом.

– О, не волнуйся, – буркнул он, – твои с арахисовым маслом, ненормальная. Пришлось разделить наши сэндвичи фольгой.

Я помогла ему расстелить плед, а затем скинула обувь и принялась дегустировать сэндвичи. Он взял мое любимое арахисовое масло – нежное и гладкое. Идеально. Я растянулась на спине, согнула колени и с удовольствием откусила.

Аксель потянулся к рюкзаку за своими художественными принадлежностями. Акварельный скетчбук, черный мешочек с кистями, небольшой квадрат махровой ткани. Его набор красок *Winsor & Newton* представлял собой нечто вроде пластикового оригами и раскладывался в палетку с крыльями-палитрами. Я смотрела, как он развинчивает одну из своих портативных акварельных кистей, напоминающих футуристические ручки. Он осторожно наклонил бутылку и стал заливать внутрь воду – чтобы при малейшем нажатии из стержня появлялась капелька и разбавляла пигмент.

Затем раскрыл скетчбук на чистой странице и вдавил кисть в квадратик краски.

Меня уже не было. В такие моменты для Акселя не существовало никого и ничего – только он и его цвета. Каждый раз в такие минуты я невольно чувствовала себя брошенной. Когда он исчезал в том особом месте где-то в глубине своего сознания, я не могла следовать за ним.

У меня самой зачесались руки в порыве творить, но я сдержалась. Хотелось вобрать в себя эту тишину. Небо стало электрическим, и солнце яркими полосами рассекало лицо Акселя, рисуя на нем световую маску. Сначала я набросала его портрет в голове – медитативное упражнение, которое я часто практиковала, прежде чем приняться за настоящий рисунок.

Густые брови, ярко очерченные скулы; затем мой взгляд, как всегда, задержался на глазах, невероятно темных – чуть ли не темнее моих. Может, он унаследовал их от матери? Аксель так сильно походил на своего отца, что мне всегда было интересно, как же выглядит его мама. У них дома не было ее фотографий. По крайней мере, я не видела ни одной и подозревала, что его отец их спрятал.

Мы с Акселем, кажется, были единственными детьми из смешанных семей в школьном округе Фэйрбридж. Когда люди видели нас вместе, то иногда называли полукровками; я лишь закатывала в ответ глаза, а вот Акселя это сильно задевало.

В его жизни почти ничего не осталось от филиппинской половины семьи. Иногда он занимал оборонительную позицию по этому вопросу. Иногда – говорил о своей матери так, будто она никуда не уходила.

Бывали дни, когда он, казалось, хотел, чтобы люди считали его стопроцентным пуэрториканцем. А порой он пытался скрыть эту часть своего наследия, смешаться с толпой, выгля-

деть и вести себя так, как все остальные в школе. Я отлично его понимала; я сама прошла через подобное.

С этими мыслями я в итоге уснула на пледе для пикника. Проснулась я от прикосновения его руки – он сказал, что пора ехать домой.

Мама уже легла, но на кухне меня ждал миниатюрный пирог-бундт в форме кольца и салфетка с единственной фразой, нацарапанной ее косым почерком, – «С днем рождения».

Она нашла в себе силы и испекла мне пирог; эта немного обнадеживало. Я разложила на кухонном столе яблоки, которые собрал для нее Аксель.

В ту ночь я легла спать, размышляя о приближении учебного года. Прошлый год – восьмой класс – выдался тяжелым. Мне казалось – или, скорее, я надеялась, – что таким же сложным он был и для Акселя. Поскольку он был на год старше, то начал старшую школу без меня – его здание находилось через дорогу. Мы все еще ездили на одном автобусе и вместе проводили время вне школы. Но в ее стенах каждый из нас ощущал себя так, будто потерял союзника.

Теперь, когда я перешла в девятый класс, а Аксель – в десятый, все должно было вернуться на круги своя. Снова в школе с лучшим другом. Как минимум мы должны были встречаться на уроках по искусству, так как по непонятным мне причинам Аксель пропустил их в девятом классе. Где-то в глубине души мне хотелось верить, что он сделал это нарочно: он понимал, что, если мы начнем этот курс одновременно, то хотя бы один предмет на протяжении трех лет⁸ у нас будет общий.

На следующий день он пришел к нам на ужин. Папа вернулся из командировки, а мама приготовила дамплинги с зеленым луком – к позднему празднованию моего дня рождения; признак того, что она выкарабкалась из темноты.

После ужина мы с Акселем сидели на диване и рисовали ноги друг друга. Перед уходом он вручил мне толстый, сложенный в несколько слоев квадрат.

– Твой подарок, – сказал он.

– Ты опоздал, – поддразнила я, чтобы скрыть свое удовольствие.

– Мне нужен был еще день, – ответил он. – Увидишь.

Я смотрела, как он шаркающей походкой спустился по ступеням нашего крыльца, на ходу засовывая руки в карманы худи. Столб света в форме трапеции ударил из открытой двери и пролился на дорогу – так что Аксель наверняка знал, что я продолжала стоять там и наблюдать за ним. Он не оглянулся.

Пухлый квадрат раскрылся, обнажая несколько листов акварельной бумаги. В самом центре лежали флешка и записка:

«Нарисовал вчера, когда ты уснула во время нашего пикника. Представь, что это ноты».

Это был один из первых экспериментов Акселя по переводу рисунков на язык музыки – и он меня по-настоящему поразил. На флешке было четыре трека; я поверить не могла, что все это он сделал за один день. Рисунки были пронумерованы в соответствии с композициями; я вглядывалась в них, пока не заболели глаза. Он уловил нечто большее, чем просто цвет. Каждый рисунок воплощал собой стеклянный снежный шар эмоций и ощущений.

А музыка... Это был совершенно другой язык.

Парк он изобразил тяжелыми пятнами чернил. Желтые черточки каруселей превратились в импульсивные пассажи электрогитары. Темно-синяя детская площадка звучала как спиккато контрабаса. Откуда-то из глубины самых низких нот выростали звуки арпеджио на синтезаторе – плавучие и энергичные, как розово-красные штрихи, которые он использовал для бликов. Тонкие завитки цвета баклажана соответствовали высокому вибрато; позже Аксель объяснил, что вместо него предполагалось оперное соло – и, возможно, когда-нибудь он вос-

⁸ В американских школах учатся 12 лет.

пользуется услугами настоящего исполнителя, потому что пока это самое слабое место в композиции.

Меня он тоже нарисовал: слои рыжего, красного, желтого легли поверх мазков туши. И еще один цвет – полоса океанического голубого у меня в волосах. Все оттенки переданы через легато виолончели, соло кларнета, то пробивающееся сквозь мелодию струн, то снова теряющееся в ней; через низкий бой литавр и еще какой-то неземной, волшебный звук – позже Аксель сказал, что это терменвокс⁹.

Пока я дремала там, в парке, пока проигрывала где-то в подсознании свои воспоминания о нем, он изучал меня, добираясь до самых глубин моей души.

Эти четыре трека я слушала на повторе всю ночь, уверенная в том, что таким образом он признавался мне в любви; что, когда мы увидимся в следующий раз, все будет иначе. Не знаю, когда я уснула, но, проснувшись, обнаружила себя в объятиях хромового желтого и испанского красного с чувством, будто тот синий мазок был самым моим естеством, и я носила его на себе как знак его любви.

Начался учебный год – и я оказалась права. Все действительно было по-другому.

Но не так, как я ожидала.

На второй день учебы от шушукающихся в очереди на обед учеников из параллельных классов я узнала, что Аксель позвал на свидание девушку по имени Лианн Райан.

⁹ Терменвокс – электромузыкальный инструмент, управление звуком на котором происходит в результате свободного перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн.

23

Как же усердно и старательно мы создаем эти маленькие временные капсулы. Развешиваем гирлянды воспоминаний так, чтобы они светились нужными нам оттенками. Но подобная разборчивость – что спрятать, а что выставить на всеобщее обозрение – совсем не свойственна памяти.

Память – жестокая штука; она кромсает наше сознание под самыми болезненными углами, снова и снова окуная его не в те краски. Момент унижения, или опустошения, или абсолютной ярости; момент, который будешь проигрывать в голове снова и снова; нить, закручивающаяся вокруг мозга и в итоге завязывающаяся в нечто вроде петли. Она тебя, конечно, не убьет, но заставит ощутить давление каждого кошмарного и стыдного момента твоей жизни. Как это прекратить? Как очистить свой разум?

Хотела бы я уметь командовать своим мозгом; хотела бы сказать ему: «Давай. Вперед. Расслабься и отпусти все воспоминания. Позволь им исчезнуть».

24

Осень, девятый класс

Пока я пыталась не затеряться в странной атмосфере первых дней старшей школы, маме становилось все хуже; ее чувства терзало и разметывало во все стороны, пока она опускалась к самому дну.

Теперь это происходило так часто, что стало почти нормой. А может, это был просто фокус сознания – способ убедить себя, что все в порядке. Но я ухватилась за эту «нормальность», крепко сжала в кулаке и побежала с ней далеко прочь. Я пыталась быть обычным подростком. Я позволила себе отвлечься на проблемы, которые были до стыдного банальными.

Например, когда же наконец Аксель бросит Лианн Райан? Шли недели. Внезапно оказалось, что они вместе уже целую четверть.

В один из дней мы с Акселем стояли на кухне, а его тетя, Тина, показывала маме, как избавиться от плесени, растущей на стене нашего дома.

Он давно к нам не заходил, и странно было наблюдать, как он барабанит пальцами по столешнице в своей привычной манере. Он рассказывал, как Лианн назвала его порошковый лимонад отвратительным и потребовала сделать «настоящий», как она отказалась пить его из банки, как обычно делали в доме семьи Морено. Он рассказывал это словно в шутку, но мне было совсем не смешно.

– Что ты в ней нашел? – вдруг выпалила я.

У него на лице не дрогнул ни один мускул; он медленно перевел на меня взгляд.

– Ты о чем? – спросил он с той фальшью, которую сам всегда ненавидел; ему было отлично известно, *что* я имею в виду.

– Что такого замечательного в Лианн Райан?

На самом деле мне хотелось спросить другое: *Какого черта ты с ней встречаешься?* Казалось, в ней собраны все качества, которые должны его раздражать.

После долгой паузы он выдал лаконичное:

– Она мне нравится.

Тон разговора резко стал холодным. Мама предложила Тине и Акселю остаться на ужин, но он отказался под предлогом домашнего задания. Я вернулась в свою комнату с одной мыслью: *неважно, неважно, неважно*; слоги подпрыгивали в голове, как тройные стаккато – такие моя мать извлекала из фортепианных клавиш.

Теперь я едва видела Акселя. Мы все еще встречались на уроках рисования, но стоило мне открыть рот, я рисковала сболтнуть что-нибудь ужасное про Лианн. Молчание казалось куда безопаснее. Но даже если Аксель что-то и заметил – то виду не подал.

Эту тишину я приносила с собой домой.

Однажды папин обратный рейс задержали, и после звонка мама скрылась наверху. Время ужина наступило – и прошло. Я проглотила палочку копченого сыра и отправилась на второй этаж – выяснить, как мама относится к тому, чтобы заказать пиццу. Она лежала в кровати, укутанная в огромное одеяло. Я долго стояла и смотрела на нее, пока она наконец не развернулась, бормоча нечто неразборчивое. Было что-то тревожное в этом зрелище: мама, топящая во сне свое одиночество.

Тогда папа только начал ездить по командировкам. Я думала – *надеялась*, – что все изменится к лучшему, когда мы привыкнем к его отсутствию. Но это воспоминание так и застряло у меня в памяти: грустно спящая мама, тоскующая по папе.

Казалось, все в моей жизни меняется. Я чувствовала, что ситуация у нас дома ухудшается параллельно с крушением нашей с Акселем дружбы.

Отец возвращался как раз ко Дню благодарения, и мама с бешеным усердием взялась за готовку. Когда я показала ему, что приготовила к уроку по искусству, он лишь кивнул, даже не улыбнувшись.

– Это твой последний год рисования?

– Нет?.. – ответила я, несколько сбитая с толку его вопросом.

– А-а, я просто думал, ты это перерастешь, когда пойдешь в старшие классы.

Перерасту? Я была так ошарашена, что потеряла дар речи. Тогда я впервые осознала, что, возможно, именно об этом папа и мечтает. Чтобы я «переросла» рисование, чтобы забыла обо всем этом. Чтобы занялась чем-нибудь другим. Но как я могла?

На следующей неделе Аксель отсутствовал из-за болезни. Лианн Райан неторопливо вошла в наш класс и попросила его папку. Она увидела меня, но не улыбнулась, только отвела взгляд. К чему ей притворяться – ведь Акселя рядом нет.

– У него мононуклеоз, – сообщила она мистеру Нагори. – Так что трудно сказать, когда он выйдет.

Меня чуть не стошнило, когда я это услышала. Сколько еще банальностей было у него в запасе?

Пока Аксель болел, его место заняла Каролина Ренар. Она сразу мне понравилась – может, потому, что у нас обеих в волосах были синие прядки, а может, я просто мгновенно поняла, что она *мой* человек. Мы работали над заданием в паре – нужно было написать картину акриловыми красками на одном холсте. Нагори сказал, что так мы сможем чему-нибудь научиться у своего партнера и посмотреть на мир его глазами. Главное – последовательность. Мы должны были попытаться сделать так, чтобы он не смог угадать, кто и что нарисовал.

Вскоре наша картина стала весьма динамичной. Каро – *«пожалуйста, не называй меня Каролина; это имя было ужасной ошибкой»* – нравились угловатые и зазубренные, как молния, линии; одна из них разделила наш рисунок пополам. Слева мы нарисовали синюю фигуру с длинной шеей, опустившуюся на одно колено и протягивающую в руках человеческое сердце. Справа – ее возлюбленного: вытянутые руки тянутся за сердцем, но тело разделено надвое молнией, так что мы видим его насквозь, будто через рентген. Внутри тела – все оттенки дьявольского огненного рыжего. Буря ложных обещаний, вихри ядовитых мыслей. Обе фигуры мы сделали бесполоыми.

Пятничный день клонился к закату, а наш рисунок был до сих пор не закончен.

– Девочки, вы успеете сделать задание вовремя? – спросил Нагори, наблюдая, как мы собираем сумки.

– Не волнуйтесь. Мы закончим в выходные, – пообещала Каро. – У меня дома есть все необходимое. Да, Ли?

– Ага, – без колебаний подтвердила я, хотя услышала этот план впервые. Я смотрела, как Каро осторожно стягивает нашу картину со стола и берет ее за раму на обратной стороне листа.

– Поможешь мне донести до маминой машины? – спросила она. – Мы тебя подвезем, чтоб ты не мучилась в переполненном автобусе, только захвати мой рюкзак.

Я последовала за ней на парковку, где она направилась напрямиком к компактному белому седану.

– Привет, мам, – сказала она, влезая на переднее сиденье. – Это Ли. Ее нужно подбросить до дома. Она живет в Ларчмонте, прямо у поворота.

Я бросила сумки в багажник.

– Откуда ты знаешь?

Ее мама фыркнула.

– Каро всегда в курсе, где живут барышни. Приятно познакомиться, Ли. Мэл.

Каро приподняла голову, закатила глаза и сказала:

– Моя мать убеждена, что я флиртую с каждой девушкой, которая встречается мне на пути. Это не так. – Она обернулась, чтобы посмотреть, не размазались ли краски на нашей картине. – Просто мы живем в одном районе. А ты – всего в нескольких домах от Чеслин.

Я напрягла память.

– Кого?

– Ты не знаешь Морган Чеслин? Она переехала на твою улицу пару лет назад.

– Чеслин ходит в «Стюарт», – добавила Мэл.

– Тогда понятно. – Я с трудом помнила своих одноклассников, не говоря уже о ребятах из других школ, тем более частных.

– Ничего, если Ли придет к нам на выходные, чтобы закончить картину? – обратилась к маме Каро.

– Конечно, – ответила Мэл и подмигнула мне в зеркало заднего вида.

Каро, заметив, издала стон раздражения.

– Мам, вообще-то мы не собираемся там обжиматься.

Мэл наигранно пожала плечами:

– Я ничего такого и не говорила!

Они высадили меня и уже начали выезжать обратно на главную дорогу – Каро закатила напоследок глаза, – когда я поняла, что входная дверь заперта на главный замок.

Насколько мне было известно, на этот замок мы дверь никогда не запирали, и у меня даже ключа от него не было. Ведомая каким-то инстинктом, я почувствовала, что должна произвести показательный «осмотр» карманов и рюкзака. Мэл остановила машину на середине улицы – они с Каро за мной наблюдали. Я развернулась и, пожав плечами, помахала в надежде, что они воспримут это как сигнал и двинутся дальше, а мама наконец услышит звонок и откроет дверь, – и тогда Мэл и Каро, уезжая, все-таки увидят, что я, как нормальный человек, спокойно захожу к себе домой.

Но никто не открывал. Изнутри не доносилось ни звука. Я постучала громче, а когда реакции не последовало, несколько раз сильно пнула дверь ногой.

– Дома никого? – спросила Мэл. – Ты можешь подождать у нас, если у тебя нет ключей.

– Нет, мама *должна* быть дома. – Я выдавила из себя нервный смешок.

– У вас есть другой вход?

– Да, сзади, – ответила я, – но там обычно закрыто...

Я хотела, чтобы они уехали, но Мэл настояла на том, чтобы остаться и подождать, пока я проверю задние двери.

Они оказались незаперты. Только я успела широко их раздвинуть, как увидела маму – на плитке кухонного пола, свернутую в клубок, маленькую и беззащитную.

– *Мама!* – Я подбежала к ней, прокручивая в голове самые страшные сценарии, и к горлу подкатила тошнота.

Мне удалось привести ее в чувство, но она казалась страшно потерянной и вялой. Пока я пыталась понять, что произошло, в груди все колотилось. Сердечный приступ? Обморок?

– Что случилось? – спросила я. – Ты в порядке?

Она не ответила.

– Кто это? – Щурясь, она стала вглядываться в Мэл и Каро; они выбежали из машины и зашли в дом, когда слышали мой крик.

– Они подвезли меня, – ответила я.

– Может, позвонить кому-нибудь? – предложила Мэл. Только спустя пару секунд я поняла, что под «*кем-то*» она, скорее всего, имела в виду 911.

– Нет, – сказала мама. – Я в порядке. Все нормально.

Казалось, прошла тысяча лет, прежде чем Мэл и Каро наконец ушли. Я не могла даже смотреть на них – стыд спиралью закручивался внутри, разгорался малиновым и полыхал так, как полыхает гнев.

Оставшись с мамой вдвоем, я, как сокол, наблюдала за каждым ее движением: как тряслись ее руки, когда она потянулась за сковородой, как медленно и неуверенно она передвигалась.

На меня навалился очередной груз. Почему она оказалась на полу без сознания?

– Папин самолет скоро приземлится, – сказала мама позже, когда более-менее оправилась от произошедшего. – Не нужно беспокоить его, – добавила она, слабо улыбнувшись.

Я долго размышляла над ее словами. Она говорила о том, что не стоит рассказывать папе, как я не могла попасть в дом, как нашла ее на холодном кухонном полу. То, как она это произнесла, меня задело. *Не нужно беспокоить его*. А что насчет меня? Моего беспокойства?

Мое волнение росло, как коралловый шар, который бледнеет с каждой новой порцией воздуха, раздувающего его брюхо; росло до тех пор, пока не стало почти прозрачным, чуть ярче едва заметной тени, но все-таки – оно было со мной всегда, везде.

25

– Вот, – произносит Фэн, – магазин, где я купила выпечку.

Уайпо прикасается к моему локтю и указывает на полку.

– *Ni mama zui xihuan*, – говорит она мне. *Самые любимые у твоей мамы.*

Я нахожу глазами ряд, на который она показывает, и сразу узнаю *danhuang su*.

– *Yiqian*, – начинает Уайпо. *В прошлом.* Это все, что мне удастся уловить. Ее взгляд напряжен и пронзителен. Она говорит что-то важное, но я не понимаю ни слова.

Фэн спешит перевести еще до того, как я успеваю обратиться за помощью.

– Попо говорит, что много лет назад этой пекарней владела другая семья. Твоя мать любила ее больше всех, потому что здесь были самые лучшие *danhuang su* – это такие круглые...

– Я знаю, что это, – прерываю ее я; мой голос звучит довольно резко.

– А. Хорошо. – Фэн принимается сцеплять и расплетать пальцы. – Твоя мама их делала?

– Ага. Я любила наблюдать, как она готовит, – отвечаю я тихо и внезапно теряюсь в индентреновом синем под тяжким грузом воспоминаний.

Мама лепит пирожки из теста, бледные, покрытые мукой. Зачерпывает горстки фасоле-вой пасты. Помещает в середину красной массы соленые желтки – маленькие капельки сол-нечного света.

Каждый раз, когда она откидывала со лба прядку волос, у нее на виске оставался след от муки, похожий на летящую комету. В конце она смазывала каждый пирожок сырым яйцом и посыпала темными семенами – искорками черного кунжута.

Нас окружают полки с подносами выпечки. Что бы выбрала мама? Желтые тарты? Пух-лые булочки? Необычные рулеты с вмешанными в тесто кукурузой и луком?

Фэн шумно выдыхает – это действует мне на нервы.

– Как же *изумительно* здесь пахнет! Я могу стоять и вдыхать этот аромат вечно.

Она указывает на поднос с булочками в форме головы панды.

– Смотри, какие милые! Ушки, наверное, из шоколада. Мне нравится, что эта выпечка не очень сладкая. Вкус не такой яркий...

Она не замолкала с самого завтрака; я задыхалась от ее непрерывных комментариев, а ритм ее голоса вызывал боль в висках.

Я пытаюсь отгородиться от нее и просто *подумать*.

Тот факт, что когда-то это был мамин любимый магазин, явно не случаен. Но почему у них на логотипе красная птица?

– Птица – это новый логотип, – говорит Фэн, и я подпрыгиваю на месте. – Появился пару недель назад. Раньше был месяц – а теперь круг, то есть полная луна.

Волоски на загривке встают дыбом.

– Почему его поменяли?

– Я спрашивала у хозяйки пару дней назад. Она сказала, что всегда любила птиц, а в последнее время несколько раз видела красную птицу над городом и решила, что это к удаче.

Птица. Моя мать. Значит, другие тоже ее видели.

Сердце наполняется надеждой цвета сырой сиены. Я знала, что нужно приехать сюда. Знала, что найду ее.

Если та женщина заметила птицу в небе над городом, значит, нам нужно отправиться куда-то, откуда открывается хороший вид. Я должна увидеть все сама.

Папины слова отзываются в голове. *Один из самых высоких небоскребов в мире.*

– Фэн, знаешь тот высокий небоскреб?

Она секунду моргает.

– Ты имеешь в виду Тайбэй 101?

– Да, он самый. Туристам можно подниматься наверх?

– Конечно! – Она, кажется, обрадовалась моему внезапно пробудившемуся интересу. –

Ты сможешь увидеть город целиком с любой точки...

– Отлично, – прерываю я ее. – Мы можем туда пойти? Вот прямо сейчас?

Мы выходим на улицу, и в ту же секунду у меня в ногах оказывается яблоко. Там, откуда оно прикатилось, никого нет.

Уайпо не позволяет мне его поднять и что-то взволнованно бормочет.

– Она говорит, чтобы ты его не трогала, – переводит Фэн. – Иначе за тобой может явиться призрак.

– Призрак? – переспрашиваю я.

– Они любят прикрепляться к людям.

Я оборачиваюсь и смотрю на яблоко, пока мы уходим прочь. На него падает солнечный луч, восковая кожа блесит, словно улыбаясь. Я не могу отделаться от мысли, что оно выглядит один-в-один как ханикрип.

Уайпо окликает меня, и в эту секунду ее голос звучит точь-в-точь как мамин.

Она не подозревает, что призрак уже с нами.



Восемьдесят девятый этаж башни Тайбэй 101 занимает смотровая площадка, сквозь стеклянные стены которой можно увидеть весь город. Здания в миниатюре. Горы – словно нежные мазки акварели, самые дальние из них размыты туманом и растворяются в облаках. Странное сочетание: плотно застроенный, буквально упакованный сооружениями город, а чуть дальше – цветущая зелень и синева пышных лесов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.